

FRANCESCO PICCO

221

BX
3506
.B64
1915

IL PROFETA MANSUR

(G. B. BOETTI)

1743-1798



A. F. FORMIGGINI

EDITORE IN GENOVA

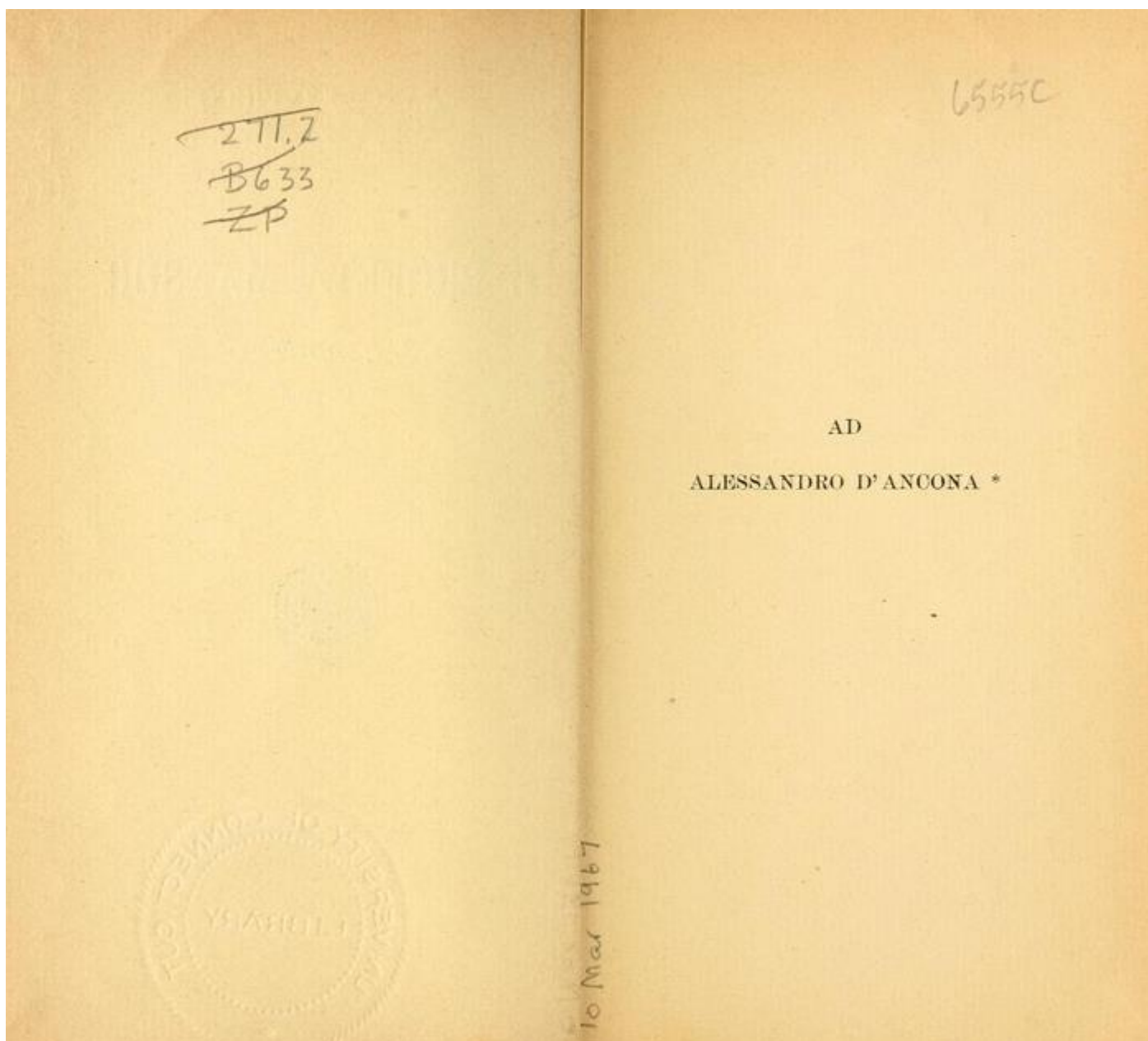
1915.

ФРАНЧЕСКО ПИККО

ПРОРОК МАНСУР

(Д. Б. БОЭТТИ)

1743 - 1798



«Среди множества авантюристов XVIII века особого места заслуживает отец Боэтти.

Для нас, не имеющих ни малейшего намерения заниматься так называемыми “реабилитациями”, но рассматривающих в аванюристах лишь своеобразный аспект XVIII века, отец Боэтти представляет исключительный интерес. Он был беспокойным и скитальцем; он не всегда отличался щепетильностью в поступках своей жизни; он, как и многие другие его собратья по приключениям, не терпел узды и, прежде всего, был одержим идеей, что общество может и должно быть перестроено с самых оснований и, очистившись от прошлого, воссоздано заново силой более или менее удачных метафизических понятий. Но, хотя он и является одним из самых примечательных авантюристов XVIII столетия, его имя, можно сказать, оставалось неизвестным, пока профессор

Оттино не воскресил его в 1876 году в одной из статей сборника “Курьёзы и исследования по субальпийской истории”. Мы будем опираться на эту статью, не беря, впрочем, на себя строгой ответственности за все удивительные и странные приключения Боэтти, и сожалея лишь о том, что этот достойный человек не опубликовал полностью то “Сообщение о делах Боэтти”, которое хранится в Государственных архивах Турина и составлено на основании записок самого авантюриста, похищенных у него в 1786 году неким человеком, бывшим его канцлером и доверенным лицом».

Эти слова Алессандро Д’Анконы, которые читаются в старой статье из *Fanfulla della Domenica* *1 и в недавнем её переиздании *2, побудили меня несколько лет назад разыскать и опубликовать то самое «Сообщение» *3, о котором там говорится, снабдив его несколькими другими документами *4, которые мне довелось собрать во время моих летних пребываний здесь, в Пьяццано, то есть в монферратском местечке, которое было «родным местом» пророка Мансура.

Уже тогда я поставил во главе документального изложения странных приключений этого дерзновенного миссионера и воина несколько предварительных заметок *5. Теперь же, движимый намерением привести, так сказать, в окончательно упорядоченный вид многочисленные перипетии жизни Боэтти — насколько их удалось собрать по публичным и частным документам, другим исследователям и самому, — я вновь беру и развиваю эти заметки, извлекая их из забытых страниц *Rivista di Storia Arte Archeologia della Provincia di Alessandria* за 1901 год, по настоянию многих друзей, которые различной культурной деятельностью стремятся вернуть прекрасному Монферрату ту более широкую известность, которая ему по праву принадлежит, а также по желанию моего друга-издателя Формиггини, рассчитывающего придать авантюрной истории монаха-пророка *6 более широкое распространение.

Пьяццано Монферрато (Алессандрия)

Сентябрь 1914.»

Ф. П.

Есть в Монферрато, недалеко от Казале, маленькое селение Пьяццано, которое, вероятно, осталось бы без истории, если бы в середине XVIII века здесь не родился весьма необыкновенный человек, жаждавший славы и власти.

В этой крошечной монферратской деревушке, стоящей на солнечном холме там, где заканчивается долина, называемая Дарданьей, — долина, широко раскрывающаяся у Понтестуры и постепенно становящаяся всё уже, пока волнистые виноградные холмы, окаймляющие её, не смыкаются кольцом, образуя прелестную зелёную чашу, 2 июня 1743 года родился Джован Баттиста Боэтти, которому впоследствии обстоятельства его судьбы позволили украсить себя гордым и таинственным титулом Пророка Мансура.

Тогда Пьяццано было приходом, а не общиной; вместе с Камино, Кастельсампьетро и другими землями оно зависело от маркизов Скарампи ди Вилланова, графов Камино. Подестой (*главой администрации*) там в то время был отец нашего авантюриста, нотариус Спирито Бартоломео Боэтти, происходивший от графов Кунико, муж Марии Маргариты, дочери нотариуса Витторио Имперiale Монтальто из Крешентино на реке По.

Этот брак, поистине, не был бесплодным. Выйдя замуж в 1740 году и став матерью целой череды детей, почти все из которых, однако, не выжили, жена нашего подесты, изображаемого в документах как человек грубый и бесчеловечный, умерла во время своих пятнадцатых родов, оставив в живых, кроме семилетнего мальчика, лишь трёх дочерей.

Возникал ли потом, когда он вырос годами и разумом, в памяти Джован Баттисты среди самых нежных воспоминаний детства измученный образ его бедной матери, надломленной тяготами жалкой жизни, дурным обращением супруга, унесённой в могилу преждевременной смертью? Тень внутренней скорби омрачила радости его детства, и плохо скрываемое отвращение, глухая враждебность, которая позднее вспыхнула в открытый конфликт, всегда держали его вдали от отца.

Крепкий телом и духом, он провёл беззаботное детство, разделяя со сверстниками игры, драки, весёлые и хищные набеги на фруктовые сады и виноградники своего прекрасного родного холма, по-библейски названного горой Сион; но после смерти матери он увидел, как его жизнь стала унылой и бедной на забавы, среди мрачных стен городского пансиона в Казале, куда мало любящий отец поместил его и старшую дочь, оставив при себе только двух младших дочерей.

Следует, впрочем, добавить, что нотариус Спирито Бартоломео, человек с бурной натурой, очень скоро счёл вдовство невыносимым состоянием и, не желая дольше оставаться один, решил снова жениться. Напрасно этот дерзкий мальчишка, его сын, занимавшийся в соседнем Казале латынью, осмелился направить ему письмо, полное здравого смысла, — десятилетний ребёнок, не знающий жизни, но обеспокоенный шагом, который отец собирался сделать. Не будучи богатым, уже имея многочисленное потомство, без малейшей заботы о семье, которой он тем самым готовил слёзы и бедствия, он привёл в дом в 1754 году вторую жену, Паолу Марию Маргариту из казалецкой семьи Ривальта, которая в 1756 году родила ему ещё одного мальчика.

Так предчувствия преждевременно повзрослевшего подростка полностью подтвердились. Его три сестры, две из которых, живя с сварливой мачехой, испытали на себе её злобный нрав, выбрали путь монашества и в тишине монастыря, в том же Казале, прожили затем свою скромную жизнь в молитве. Он же сам всё больше сокращал число своих посещений и укорачивал время пребывания в отцовском доме, где никто никогда не говорил ему ни слова ласки, где он всегда находил лишь новые побои и новые огорчения, откуда уезжал опечаленный, вынашивая в сердце немой гнев против равнодушного отца, против чужой и ненавистной ему женщины и против её сына Джованни Карло, внезапно занявшего его место. Ибо мачеха, женщина более решительного характера и, возможно, более привлекательной наружности, чем та, которая предшествовала ей в этом доме, по-видимому, не потратила большого труда, чтобы завладеть душой супруга, всё больше отдаляя его от детей первого брака.

Уязвлённый в самолюбии, наш юный ученик не падает духом, а деятельно ищет утешения в учёбе, которой он с усердием предавался и в годы, проведённые в Казале, и в течение трёх лет, которые, перешагнув пятнадцатилетний возраст, провёл в колледже в Турине. Однако он был учеником, мало склонным подчиняться авторитарным требованиям; как говорится, он был самоучкой — таким его делали необычайно живой ум, быстрая проницательность и ненасытное любопытство к самым разнообразным знаниям, неизвестным или пренебрегаемым его товарищами по учёбе.

Однажды в Казале приехал его отец и захотел узнать, как идут занятия у сына, которого он твёрдо решил сделать врачом. Пусть каждый представит, как он был поражён, узнав, что тот, напротив, занимается подготовительными занятиями, чтобы затем посвятить себя праву! Джамбаттиста, сказать по правде, не слишком смутился от суровых отцовских упрёков и не отказался от своих замыслов; не видя иного выхода, он задумал побег. Напрасно отец призывал его к повиновению и отдавал по этому поводу строгие распоряжения; в молодом сердце уже зрели дух мятежа, и крепи

некоторые свободлюбивые намерения, давно им лелеемые. Ловкий, хитрый, умеющий притворяться, юный студент вовсе не собирался покорно следовать чужой воле и был готов порвать даже с собственным отцом. Его манили смутные мечты о славе и глубокая, вполне укоренившаяся уверенность, что он предназначен для великих дел; он не мог дождаться, когда выйдет в широкий мир, свободный от всяких пут; он грезил о независимой, гордой жизни, увенчанной триумфами, такой, какой её рисовали его безмерные амбиции и какую, как ему казалось, он был способен завоевать.

Итак, решив бежать из колледжа, он намеревался объехать Италию, а затем отправиться на Восток. Почти без денег, но богатый отвагой, доходившей до безрассудства, он преодолел первое препятствие, которое другой счёл бы непреодолимым: за небольшую сумму уговорил товарища получить и уступить ему свой паспорт и уже готов был пуститься в путь, когда, к своему великому удивлению, его план был сорван. В тот самый день, когда он должен был уехать, ему сообщили, что у двери его кто-то спрашивает. Он спустился и увидел перед собой незнакомого господина «в чёрном платье и большом парике», который, не дав никакого объяснения, объявил его арестованным по приказу короля и, посадив в ожидавшие неподалёку носилки, отвёз в тюрьму у «Порта-ди-По».

Не нужно и говорить, как он мучился из-за этого неожиданного препятствия!

Позднее он узнал, что тем незнакомцем был маркиз ди Вилланова, шталмейстер королевы Сардинии, покровитель всей семьи Боэтти; через месяц, благодаря заступничеству его доброго деда по матери, специально приехавшего в Турин из Крешентино, он был освобождён из заключения при условии, что, раскаявшись в своём проступке, пообещает посвятить себя изучению медицины. Разумеется, ради возвращённой ему свободы он был вынужден склонить голову, но даже в самый момент вынужденного подчинения не сумел сдержать порывов своего характера, и, оказавшись перед губернатором в присутствии маркиза ди Вилланова, вместо слов почтения и извинения, которые подсказывал ему любящий дед, как рассказывают, произнёс:

«Ваше превосходительство, меня заставляют благодарить вас за то, что вы велели меня заключить в тюрьму; я повинуюсь, но против воли, потому что чувствую себя смешным, и мне это неприятно».

И всё же в глубине души он питал тёплую благодарность к этому пожилому родственнику, который так хлопотал о нём, любил его и напоминал ему дорогую покойную мать; он охотно последовал за ним в Крешентино и расстался с ним с сожалением, когда пришлось вернуться в Пьяццано. Там он

прожил три месяца, но жестокое обращение, которому его подвергали, было столь тяжёлым, что, когда однажды вспыльчивый отец избил его с такой яростью, что оставил почти бездыханным, он снова отправился в Турин, соглашаясь взяться за ненавистные занятия медициной, лишь бы покинуть эти негостеприимные места, этих жестоких и бесчеловечных родственников.

Однако в сердце он носил молчаливую, упрямую ненависть к непреклонной воле своих домашних; и бесконечная печаль, проникшая в его душу, подавляла весь его юношеский пыл. Всё сильнее просыпалось в нём возмущение против злой судьбы, которая преследовала его, принуждая к занятиям, вызывавшим у него отвращение, и мешая его истинным стремлениям; им всё более овладевала властная потребность вырваться из этих пут, в которых, как ему казалось, бесполезно сгорала его юность.

И вот в апреле, с большой вероятностью 1761 года, наш *médecin malgré lui* («врач поневоле»), тайком покинув Турин, не взяв с собой ни одежды, ни денег, добирается до Милана, где устраивается писцом при полку Клеричи, стоявшем там гарнизоном. Его внешность, манеры, живость ума, светившаяся в чрезвычайно подвижных глазах, а отчасти и счастливая звезда служили ему вместо паспорта; принятый таким образом буквально с ходу, он вскоре становится весьма любим всей ротой, к которой его определяют. Через пять месяцев он переходит в Кремону, где получает от единственного человека в своей семье, который его не оставил, — от деда из Крешентино — некоторую помощь деньгами и одеждой; войдя в милость к губернатору и нескольким знатным семьям, он записывается солдатом и ведёт довольно комфортную жизнь.

Добросовестный в исполнении своих обязанностей, умеющий при случае и подчиняться, и командовать, он, однако, не обладает необходимым спокойствием, чтобы ждать, пока события созреют сами собой.

И действительно: хотя он уже находится на верном пути к тому, чтобы стать офицером, — как незадолго до того случилось с одним его молодым родственником, который, едва достигнув девятнадцати лет, получил этот чин в том же самом полку, — терпение ему изменяет; и поскольку повышение всё не приходит, хотя ему уже позволено носить форму, не терпя промедления, а возможно, чувствуя, что военная дисциплина ему не слишком подходит, он просит отставки и, имея при себе немного денег, отправляется в путь без какого-либо заранее намеченного маршрута.

Так он попадает в Богемию, скитается из Праги в Регенсбург, затем в Страсбург, переживая тысячу приключений и череду удач и неудач.

В Праге судьба ему улыбнулась. Именно тогда, когда у него уже закончились последние деньги, ему случилось встретить молодую вдову, которая, едва увидев его, тотчас вспылала к нему любовью и сразу же была готова выйти за него замуж; но так как она происходила из богатой семьи, приверженной традиционным правилам, а смерть её мужа, скончавшегося всего два месяца назад, была ещё слишком недавней, свадьбу отложили до окончания траура. Однако влюблённой и пылкой вдове ожидание вскоре показалось невыносимым, да и ранне созревшему юноше не хватило духу смотреть, как она жестоко томится от любви к нему. Так вышло, что уже не платоническая идиллия принесла свои плоды; скорое рождение ребёнка долго скрывать было невозможно; все их брачные планы расстроились; родственники влюблённой вдовушки подняли большой шум и, удовлетворив требования дерзкого любовника, убедили его как можно скорее покинуть город.

Неожиданно пополнив кошелёк, то есть став обладателем кругленькой суммы в целых три тысячи флоринов, частично подаренной ему отчаявшейся возлюбленной, частично — её родственниками, наш Бозетти без единой заботы на свете возобновил свои прерванные цыганские странствия. *Plus gai qu'un empereur* («веселее императора»), через Регенсбург он добрался до Страсбурга, придумывая новые способы обманывать мир и приятно проводить время. Он уже прекрасно понял своим тонким чутьём, насколько люди часто поддаются внешнему впечатлению; поэтому он окружил себя двумя слугами и мальчиком-подручным и стал разъезжать по городу со своей маленькой свитой, с величавым видом любясь его монументальными произведениями искусства.

Игра удалась.

Однажды, когда он с вызывающей непринуждённостью ехал верхом по улицам Страсбурга, один каноник, с которым он уже несколько раз встречался во время своих посещений великолепного собора, выразил желание с ним познакомиться, завёл с ним отношения и пригласил к себе на обед. Лучше бы он этого не делал! Его двадцатилетняя племянница решила, что обнаружила в красивом иностранце долгожданного жениха, ниспосланного небом, чтобы сделать её розовые девичьи мечты реальностью и счастьем; тот вовсе не стал её разубеждать, и она отдалась бурной страсти со всем пылом.

Бозетти же, со своей стороны, хотя и был любим ею без памяти, оставался довольно холоден: она была богата, но очень некрасива, и его больше прельщали её деньги, чем прелести этой пылкой девушки. Тем не менее он сумел вести себя так, чтобы получить от неё множество подарков, и с

готовностью принял паспорт и приличную сумму, которую каноник-дядя поспешно вложил ему в руки, лишь бы удалить его из города, как только безумства бедной обманутой девушки открыли ему глаза на весь этот интригующий сюжет.

Тогда он снова пустился в обратный путь и вернулся в Италию, направляясь в Рим.

«Нет пророка...» На родине судьба отворачивается от него. Один флорентиец, состоявший у него на службе, обобрал его близ Болоньи до нитки и бросил в незнакомой местности, совершенно без средств, так что ему не осталось ничего иного, как понуро вернуться в родную деревню.

Те два года, или чуть меньше, которые он проводит в Пьяццано, где остаётся приблизительно до конца 1763 года, следует отметить как одну из редких спокойных пауз в его беспокойной жизни. Снова принятый в отцовский дом благодаря добрым услугам сочувствующих людей, хотя его поведение, разумеется, вовсе не было таким, чтобы расположить к нему ни отца, ни мачеху, наш юноша пользуется этой своего рода передышкой в семейных распрях, чтобы сплести нити нежной любви, с тайной надеждой создать собственную семью. Он действительно мечтал взять в жёны девушку, в которую был без памяти влюблён, и нельзя исключить, что эта красивая и богатая молодая особа, на которую он положил глаз, возможно, совершила бы чудо, превратив его самоуверенного жениха в образцового мужа, ибо в его трепетном и беспокойном сердце всё же гнездились прочные чувства.

Но тем временем дома всё изменилось. Мир и согласие исчезли, и грубость отца, не щадившего ни побоев, ни мучений, и презрение мачехи, которая первенцу Джованни Карло, рождённому в 1756 году, уже на следующий год подарила сестру, Анну Марию, а в 1760 году ещё одного брата, Луиджи, и была по отношению к этим своим детям нежнейшей матерью, — всё это возвращало в нём мрачные, жестокие намерения.

И вот, когда по общему желанию родственников невесты, жившей неподалёку и часто принимавшей визиты пылкого влюблённого, уже обсуждались планы свадьбы, однажды ночью, когда он возвращался домой, выстрел из огнестрельного оружия, произведённый в него его собственным отцом, весьма грубо дал ему понять, что этому браку не суждено состояться. Выстрел не достиг цели, но юноша был ранен в самые глубины души: он испытал столь болезненное потрясение, что оно заставило его серьёзно задуматься о своей судьбе. И счастье, что, преодолев первую бурную жажду мести, он не запятнал себя ужасным преступлением, а, придя к более благоразумному решению,

постановил вместо этого проститься с этим дорогим, но коварным местом, где теперь даже его личная безопасность подвергалась серьёзной опасности.

Само собой разумеется, родители девушки больше и слышать не хотели о родстве с людьми такого сорта, и, чтобы окончательно порвать все связи, поспешно устроили ей брак, на который она согласилась не без слёз.

Так наш Джован Баттиста, которому тогда исполнилось двадцать лет, вырванный из светлых радостей взаимной любви как раз в тот момент, когда, казалось, уже вступал на путь регулярной и спокойной жизни, вновь был брошен в водоворот новых приключений. У судьбы бывают подобные странные упорства, против которых тщетно всякое сопротивление; да и сам он по природе был таков, что чувствовал себя как дома среди самых яростных столкновений, словно зимородок среди бурь.

Итак, с трудом наскрёбши скромную сумму, он бежит из Пьяццано в Геную, где садится на корабль до Чивитавеккьи, решив отправиться в Рим. На борту он заводит знакомство с испанским монахом, профессиональным игроком, и принимает его предложения, сумев выиграть у него двести пятьдесят семь крепких пиастров, а также весь багаж. И он уже доволен, что сумел с некоторой выгодой развеять скуку медленного плавания и, будучи столь несчастлив в любви, оказался удачлив в игре, как при высадке в Чивитавеккье этот отпетый францисканец доносит на него губернатору как на вора и добивается немедленного возврата всего.

Однако Джован Баттиста Боэтти был не из тех людей, кто терпит подобное оскорбление молча, и вот он тотчас замышляет и осуществляет странную месть. Прекрасно зная слабую сторону своего противника, который, пока он сам двигался из Чивитавеккьи в сторону Рима, следовал за ним короткими переходами, он однажды вечером, остановившись на ночлег в трактире, где тот должен был вскоре сделать привал, убедил служанку оказать монаху благосклонный приём, а одновременно настоятеля соседнего прихода — проследить за его поведением. В результате монах, который вовсе не был святым, был застигнут к своему великому позору в довольно двусмысленном положении, и богобоязненный священник, внезапно появившись, составил в присутствии двух свидетелей официальный протокол об этом его непристойном романе со служанкой. Настоящая новелла в духе Боккаччо, разыгранная наяву, — искусно и быстро придуманная нашим шутником, который, весёлый как на Пасху, вскоре снова пустился в путь к Риму.

Недолго продолжалось его пребывание в Вечном городе. Очень скоро оказавшись на мели и не дождавшись ни одного из тех счастливых случаев, на которые он уже привык полагаться, чтобы пополнить свой отощавший кошелек, он был вынужден постучаться в дверь одного прелата, своего родственника, который, однако, не смог дать ему иного совета, кроме как вернуться на родину, и снабдил его для этого необходимыми средствами.

Но Бозетти, сказать по правде, совершенно не был расположен прислушиваться к подобным советам; он рассыпался в благодарностях, благосклонно принял деньги, но не наставление, и воспользовался полученной суммой, чтобы отправиться в Венецию, сгорая от желания отплыть оттуда на Восток.

Ещё с детства, как уже говорилось, он был очарован таинственными странами Востока, к которым, разожжённая чтением, часто устремлялась, как блуждающий корабль, его подвижная фантазия. Настанет день, когда он сможет исполнить этот обет; но не так скоро, как он полагает, ибо в его душе внезапно совершается глубокое обращение.

Итак, направляясь в город лагун, он проезжает через Лорето, где, движимый врождённым любопытством, посещает знаменитое святилище.

Едва он переступает порог мистического храма, как тотчас чувствует, что его охватывает бесконечное волнение, вырывающее у него слёзы: мучительная нежность пронизывает самые сокровенные струны его существа, потрясает его, уносит. Во власти этого неожиданного и властного религиозного восторга он пытается войти в маленькую часовню Богоматери, но ему кажется, будто некая сверхъестественная сила преграждает ему доступ; он многократно, всякий раз тщетно, повторяет попытку, не в силах преодолеть невидимую преграду, останавливающую его. Под гнётом этого таинственного отторжения, с умом, воспламенённым благоговением, и душой, потрясённой тысячью внезапных страхов, он отступает в угол церкви и, среди колебания противоречивых мыслей, долго размышляет о своей судьбе. Видение его беспорядочного прошлого, запятнанного виной, пробуждает в его груди никогда прежде не испытанные угрызения совести; некий божественный голос ободряет его, влечёт к себе, звучит в нём утешительно, повелевает удалиться от мира. И тогда человек неукротимой натуры, которого мы видели снедаемым жгучей жаждой свободы, становится смиренным, благочестивым, набожным; он с трепетом внимает словам веры, которые его дух в торжественном уединении собственной совести диктует ему, и, убеждённый, что Бог призывает его к жизни отречения, внезапно принимает решение предаться суровому покаянию, чтобы затем быть допущенным в монастырь. Он остаётся в молитве в Лорето целых четыре дня, а затем, уже решив

принять монашеское состояние, отправляется в Равенну, надеясь, благодаря покровительству своего знакомого, графа Сорди, секретаря кардинала Кривелли, быть принятым в какой-нибудь монашеский орден.

Однако этот путь должен был стоить ему нового и горького несчастья. По дороге, укрытый от непогоды в небольшой коляске, которая кое-как продвигалась под проливным дождём, он встретил двух незнакомцев — мужчину и молодую женщину, — шедших пешком; сжалившись над этими двумя беднягами, он уступил им место рядом с собой, втайне радуясь, что совершает доброе дело. Но коварная судьба пожелала, чтобы подобранные им попутчики оказались людьми дурной славы, так что, когда коляска достигла ворот Пезаро, солдаты арестовали их и, не желая ничего слушать, вдобавок отвели в тюрьму и их несчастного благодетеля. Так ему пришлось претерпеть двадцать восемь дней предварительного заключения, прежде чем его смог допросить губернатор; и счастье, что им оказался земляк из Монферрата, монсеньор Радикати ди Броцоло, который добродушно поверил оправданиям своего соотечественника, распорядился, чтобы палач возместил ему причинённое оскорбление за ошибку, жертвой которой он невинно стал, и в то же время посоветовал ему как можно скорее убраться из Пезаро и постараться не попадаться на глаза стражникам, которые поклялись ему отомстить за плети, полученные по его вине.

Как Бог судил, наш новообращённый, который за дни тяжёлого заключения имел возможность испытать свою совесть и укрепиться в принятом решении стать монахом, прибыл в Равенну, где, исполнив необходимые формальности, при влиятельной поддержке графа Сорди и получив требуемое согласие отца, облачился в рясу, вступив по ходатайству названного графа в качестве послушника в доминиканский монастырь 25 июля 1763 года.

Тяжкими оказались для него лишения и суровости года испытания. Хотя дух его был смирён, ему всё же нелегко давалось обуздывать порывы своей импульсивной природы, и не раз он оказывался на грани того, чтобы швырнуть рясу к чертям. Однообразная монастырская жизнь вызывала у него лихорадку и внутренний жар, изнеможение и невыразимую скуку, и подлинной победой его упорнейшей воли стало то, что он довёл своё послушничество до конца; затем, исповедав веру и произнеся обеты, повинувшись полученным распоряжениям, он вступил в монастырь в Ферраре и принялся с усердием заниматься философией и богословием.

Так проходит целых пять лет, и очень скоро, по крайней мере в глазах его собратьев, он начинает казаться более учёным, чем сами его преподаватели. После столь долгой разлуки ему разрешают

навестить трёх своих сестёр, монахинь в Казале. По этому случаю он вновь поднимается на свой холм, с душой, переполненной волнением, и успокаивается при виде мест своего детства; но вскоре снова поворачивается спиной к Пьяццано, с тяжёлым сердцем из-за насмешек своих глупых родственников, которые считают достойным громкого смеха то, что дьявол сделался отшельником. Вернувшись в свою келью в Ферраре, он глубоко хоронит в душе семейные горечи и деятельно обращается к новой жизни, уже твёрдо решив достичь давно желанной цели — Востока.

Туда он хотел бы быть послан проповедовать Евангелие, там он обещает себе возвышенные триумфы; весь проникнутый светлым аскетизмом, ради достижения своей цели он с непреклонной твёрдостью склоняется над книгами и, подталкиваемый также некоторыми плохо скрываемыми актёрскими наклонностями, которые — *naturam expellas furca...* («гони природу вилами...») — время от времени в нём обнаруживаются, хочет и действительно умеет, как сам признаётся в своём интимном дневнике, **играть святого**; то есть умеет показывать себя ревностнейшим блюстителем устава и завоёвывает благосклонность, уважение и благоговейное восхищение всех.

Его начальство, заметив, что имеет дело с монахом незаурядного склада, назначает его миссионером в Мосул, город, возникший близ руин знаменитейшей древней Ниневии.

Нет нужды говорить, с какой искренней радостью он принимает в 1769 году это назначение. Он готовится превратиться в воина Христова и немедленно собирается отправиться в Месопотамию. Наконец его мечта сбывается: ему уже чудится, что от его пламенных слов толпы обращаются в веру, новообращённые опоясываются власяницами, посыпают головы пеплом...

Итак, расставшись с добрыми собратьями из Феррары, он поспешно отправляется в Венецию, где останавливается в Сан-Доменико ди Каstellо и более пятнадцати дней ожидает корабля, который должен перевезти его за моря; это вынужденное промедление он проводит в горячих молитвах, испрашивая у неба стойкости и той силы духа, которая необходима, дабы его апостольство принесло обильные плоды.

Он чувствует, что исполнен безмерного благочестия, желает трудиться на благо ближнего, с восторгом ищет удобных случаев, чтобы воплотить дивные евангельские заповеди, которыми полон его ум, жаждет излить пыл своей души в делах христианского милосердия...

Однажды, проходя по узкому переулку, он увидел на пороге жалкого дома красивую девушку – проститутку. Внезапно охваченный состраданием при виде этого создания Божия, столь глубоко падшего, он, не раздумывая, тотчас же попытался совершить с нею свой первый акт обращения.

Надо сказать, его старания были вознаграждены весьма дурно. Подобно тому как в Пезаро чрезмерная любезность, оказанная незнакомым людям, стоила ему почти месяца тюрьмы, так и здесь, поучая прекрасную блудницу, он снова угодил в западню и лишь с большим трудом сумел из неё выбраться, на собственном горьком опыте убедившись, что в мире одних честных намерений не всегда достаточно, чтобы довести до конца столь опасные предприятия.

Он произнёс перед ней длинную речь с благим намерением открыть ей глаза, показать бездну, которую она рыла перед собою своей бесчестной жизнью; он испробовал все средства, чтобы вернуть её на «стезю добродетели»; нашёл самые проникновенные и убедительные слова, чтобы пробудить в ней чистоту мыслей и благородство чувств; он трепетал от сердечной радости, когда та, смущённая, растроганная, бормоча сквозь всхлипывания бессвязные фразы, разразилась жгучими слезами; и он ничуть не поколебался переступить этот порог и войти в её убогую каморку, когда она, мало-помалу, отступила внутрь и стояла у жалкой грязной постели, словно женщина, терзаемая раскаянием...

Но когда, в то время как он всё более и более разгорячался, описывая небесные райские блаженства и багровые, пожирающие языки адского пламени, прекрасная кающаяся, которая на самом деле вовсе не раскаивалась, заметила, что её притворство не приносит того завершения, которого она, хитрая, ожидала, — она вдруг разразилась грубым, громким хохотом, издеваясь над ним и над его наставлениями. Тут наш моралист потерял самообладание, бросился на неё и жестоко избил.

Тогда она подняла крик; прибежал стражник, которому она с опытной наглостью выложила целую вереницу небылиц, заявив, будто её лишили причитавшейся платы. И поскольку нашего чрезмерно ревностного миссионера в тот же вечер доставили к государственному секретарю, а он своими протестами не сумел разрушить видимость происшествия, все обстоятельства которого складывались против него, ему пришлось выслушать сурочайшие выговоры и дать обещание более не усердствовать в обращении венецианских грешниц, а подождать с исполнением миссионерских обязанностей до того дня, когда он достигнет далёкой восточной земли, куда был назначен.

Когда наконец настал день отплытия, нашему монаху не верится, что он наконец может продолжить путь; отплыв на Кипр, он в начале 1770 года проводит там два месяца, с большой пользой занимаясь

изучением греческого языка, на котором впоследствии научится свободно говорить и писать, а затем направляется к Алеппо.

Множество злоключений ожидает его в дороге; достойна упоминания, например, подлая шутка, сыгранная с ним в пути несколькими греческими моряками.

Сев с ними в Ларнаке на лодку, которую ему пришлось нанять за собственный счёт, поскольку не подвернулось ни одного проходящего судна, он направился в Латакию; но, обогнув остров Кипр до мыса Святого Андрея, был там застигнут жестоким ураганом и вынужден вместе с командой пристать к берегу и искать убежища в пастушьей хижине. Когда настала ночь, все уснули; но на рассвете нашего паломника ожидал мучительный сюрприз: едва он проснулся, как увидел, что моряки и лодка исчезли, и ему, одному, покинутому, не оставалось ничего лучшего, как вернуться по своим следам в Ларнаку, откуда, благодаря содействию французского консула, ему удалось вновь отплыть в сторону Турции.

Ещё одна неприятность случилась с ним в Латакии, на турецкой таможне. Начальник таможни, человек самых гнусных нравов, увидев его столь молодым и статным, воспылил к нему страстью и быстро отомстил за его гордые отказы, обвинив его перед кадием в том, будто он хулил святое имя Магомета... Своим освобождением он был обязан здравому смыслу накиба, главы «Зелёных голов».

После этого, снова тронувшись в путь и по дороге усмирив внезапный мятеж янычар, входивших в состав каравана, он наконец прибывает в Алеппо, останавливается в францисканском монастыре и там целых пять месяцев ожидает отправления какого-нибудь каравана в Мосул.

Во время этой долгой остановки, сперва радушно принятый своими собратьями, он принимается за изучение арабского языка, который осваивает с лёгкостью; затем с воодушевлением начинает по-арабски свои проповеди в церкви латинян. Вскоре по Алеппо разносится слух, что некий иностранный монах говорит с кафедры с необыкновенным красноречием; все хотят его услышать; в слушателях распространяется чарующее пламя, которое зажигают его слова, и все, кто в городе исповедует христианство восточного обряда, почтительно стекаются толпами слушать доминиканского проповедника.

Однако народ Алеппо, у которого доминиканцы пользовались особой любовью, выказывал ему такую симпатию, что францисканцы начали ревновать и пожелали его отъезда. С другой стороны, тогда как им уже начинало казаться мало совместимым с достоинством их обители то, что этот

красноречивый иностранный проповедник, образной речью, привлекательностью своей внешности и изящной учтивостью манер, покоряет сердца слушателей и — что важнее всего — слушательниц, самому Бозетти были весьма по душе и это приятное пребывание, и его быстро растущая слава.

Однако прошло не так много времени, как он, вследствие некоего приключения, случившегося с ним с одной знатнейшей греко-католической дамой, жившей в Алеппо, щедро одарённый ею, решил присоединиться к каравану, который, после двух дней пути, остановился в Береджике, небольшом местечке на Евфрате.

Перед тем как покинуть Алеппо, он позаботился приспособиться к местным обычаям, облачившись в левантийские одежды; несмотря на это, прибытие в Береджик каравана, в составе которого находился европеец, произвело в местечке немалый шум, так что губернатор пожелал видеть нашего монаха у постели своей больной дочери.

Бозетти, прекрасно знавший, что в глазах этих народов европеец — синоним врача, счёл благоразумным не отказываться от своей помощи; кстати вспомнил, что когда-то, хоть и против воли, был студентом-медиком, и, осмотрев больную с важным видом, прописал ей некоторые лекарства, которые принесли ей большую пользу.

Затем, довольный тем, что юная девушка, вверенная его попечению, идёт на поправку, он уже собирался снова отправиться в путь с караваном, который был готов к отъезду, как вдруг её отец этого не позволил: он предоставил ему великолепное жильё, осыпал его всевозможными знаками любезности и, спустя несколько недель, когда дочь совершенно выздоровела, прямо заявил ему, что охотно отдал бы её за него замуж, если бы только он принял магометанство.

Бозетти, как добрый последователь Эскулапа, лечил тело молодой девушки так хорошо, как только мог, но вовсе не мог взять в толк, что ранил её душу, и потому поначалу ответил на предложение брака решительным отказом. Когда же он увидел себя заключённым в тюрьму, выданным кадию некими людьми, которые клялись, будто он публично заявлял о намерении принять магометанскую веру, а теперь от этого отступает, он счёл благоразумным подчиниться обстоятельствам и притвориться готовым исполнить волю губернатора.

Однако в глубине души он замышлял дерзкое спасение: если прежде ему пришлось поневоле изображать врача, то он вовсе не намеревался доводить своё самоотречение до того, чтобы стать мужем — ни по принуждению, ни по любви, — и только ждал случая поскорее покончить с этим

делом. Освобождённый после девяти дней заключения, он ещё некоторое время остаётся в городе, леча больных, которые с слепым доверием теснятся у его двери, пока, уклучив удобный момент, однажды не вскакивает на великолепного арабского коня, под предлогом прогулки, и не пускается в стремительное бегство. Поступок этот был чрезвычайно смел, если подумать, что он таким образом пускался в путь совершенно один, без средств и без какого-либо определённого маршрута, в стране негостеприимной и почти неизвестной, подгоняемый желанием избежать уже почти неизбежных брачных уз.

В Антабе, где, как и советовала осторожность, он продаёт коня и сбрую — дорогую и богатую, — он скрывается с такой ловкостью, что, благодаря знанию арабского языка, которым к тому времени владеет уже в совершенстве, его так и не обнаруживают. Вскоре ему представляется возможность отправиться в Урфу, и вот как он этого добивается. В бедной одежде, переодетый местным армянином, — ведь речь шла о том, чтобы вновь ступить в город, из которого он несколькими днями ранее бежал, — он нанимается к погонщику мулов, который совершал этот путь, и, благодаря искусной маскировке, снова проходит через Береджик, не вызвав ни малейшего подозрения.

Так он добирается до Урфы в довольно смутное время, когда вспыхнувшее восстание янычар делает пребывание в городе опасным, и две недели проводит в окрестностях, в Гармусе, родной деревне того самого погонщика, с которым, как уже было сказано, он шёл вместе.

Эта маленькая деревушка становится ареной ещё одного его причудливого приключения. В один полдень, в тяжёлый, изнуряющий зной, наш монах желает освежиться в прохладных водах ручья довольно значительной глубины, омывающего сады Гармусы. И вот, не заметив вокруг ни души, он раздевается, входит в поток и наслаждается своим освежающим купанием, совершенно не подозревая о двух молодых девушках, дочерях садовника, которые устраивают ему превосходную шутку. Они, издали проследив за всеми его действиями, осторожно подходят к ручью и, тихонько сдерживая смех, уносят одежду, оставленную им на берегу. И вот уже эти шалуньи быстрыми и крадущимися шагами удаляются, когда Боэтти замечает их.

Не теряя ни минуты, он выскакивает из воды и нагой, мокрый бросается за ними вдоль зелёных берегов сада. Так он возвращает свои одежды, но не избегает побоев от родственников девушек, прибежавших на крики и поражённых и возмущённых тем, что застали этого неведомого речного сатира преследующим их дочерей в адамовом наряде.

Из-за этих и подобных приключений ему всё сильнее не терпится добраться до Мосула, и он чувствует себя на седьмом небе, когда ему наконец удаётся покинуть Гармусу, присоединившись к двум десяткам всадников, направлявшихся в Мардин, где, после пятидневного перехода через пустыню, он на короткое время становится желанным гостем босых кармелитов, имевших там миссию.

Снабжённый этими добрыми собратями некоторой суммой денег, которую арабы-клептоманы тотчас же поспешили у него украсть, после ещё семи дней пути он достигает Мосула на Тигре — конечной цели своего долгого странствия.

И вот, наконец, Боэтти начинает столь долго желанное им религиозное и гуманитарное служение.

Домом миссий в Мосуле управлял отец Ланца, старый суровый доминиканец, который принял Боэтти с грубоватой простотой и стал обращаться с ним как с новичком. А поскольку нашему монаху такое обращение совсем не пришлось по вкусу, между ними вскоре начались частые разногласия.

Со своей стороны Ланца, который уже собирался отправиться в Рим, напротив, вполне искренне старался всеми средствами ввести Боэтти, своего будущего преемника, в курс дела, чтобы тот знал обстановку; но так и не сумел убедить его в чистоте своих намерений. Наш обидчивый миссионер смотрел на него недоброжелательно, и когда тот уехал, а сам он оказался во главе миссионерского дома со всеми его выгодами и обязанностями, он стал жаловаться на него, обвиняя в том, будто тот присвоил кассу, принадлежавшую самому дому миссий. Ради истины следует, однако, добавить — со слов нашего постоянного осведомителя, — что отец Ланца всегда пользовался доброй славой и по прибытии в Рим получил почётные назначения; в Мосуле же он оставил Боэтти во главе хорошо обеспеченного и прекрасно устроенного дома.

Достигнув того положения, к которому так долго стремился, и в короткое время завоевав доверие паши, который назначил его своим врачом, отец Боэтти с истинным рвением принялся за своё благотворное служение.

Но насмешливая судьба, которая словно следит за каждым его шагом и позволяет ему кое-какие успехи лишь затем, чтобы вскоре разрушить его замыслы, не даёт ему передышки: после семи месяцев спокойствия она готовит ему новые испытания.

Один турок, поражённый неизлечимой болезнью, добивается того, чтобы его лечил наш миссионер, который делает всё возможное, чтобы его исцелить; но, к несчастью, именно в тот момент, когда Боэтти подаёт ему эликсир, тот склоняет голову и умирает. Дочь турка, присутствующая при этой катастрофе, в ужасе испускает пронзительные крики и убегает, зовя на помощь. Дом миссий внезапно наполняется шумной и угрожающей толпой, которая без долгих слов обвиняет несчастного врача в отравлении.

Отец Боэтти тщетно оправдывается; подвергшийся яростному натиску народа, он не может привести убедительных объяснений; его вина в глазах этих фанатиков кажется очевидной, доказанной. Его заключают в тюрьму, и, принимая во внимание достоинство ордена, к которому он принадлежит, ему смягчают более тяжкое наказание, ограничив кару пятьюдесятью ударами палкой по ступням ног. Затем ему велют покинуть город, не дав даже времени собрать самое необходимое: его дом оставляют на разграбление этим обезумевшим людям.

В этом тяжком положении для Боэтти не остаётся более надёжного убежища, чем Амадия в Курдистане. Там он действительно находит приют у другого миссионера того же ордена, отца Гарцони, с которым, однако, не сможет жить в мире из-за скрытого соперничества, возникшего ещё тогда, когда Ланца предпочёл Боэтти ему при назначении на руководство миссией в Мосуле. Тайные обиды вскоре выходят наружу; едва проходит три месяца, как наш изгнанник уже чувствует себя там неуютно и вынужден временно принять в Амадии благосклонные предложения князя Заку, который предоставляет ему кров и поручает ему церковь несториан, чтобы он использовал её на пользу местным католикам.

Но католики, вверенные его попечению, кажутся ему недостаточно многочисленными, чтобы оставаться там ради них; к тому же беспокойство, живущее в его крови, не позволяет ему задерживаться надолго. Тогда он вызывает католического священника из Мосула, передаёт ему церковь, полученную от князя, и, простившись со своим покровителем, покидает страну, жаждущий новых предприятий, одержимый некими честолюбивыми замыслами.

Он отправляется в Персию, где надеется найти других доминиканских миссионеров; но, пройдя ту область и не встретив ни одного, он неохотно возвращается в Заку, где его наконец настигает фирман Порты, которого он давно добивался через Константинополь при посредничестве Рима и с помощью которого рассчитывает беспрепятственно вернуться в Мосул, как задумал с той самой минуты, когда был оттуда изгнан.

И вот он снова на пути в Мосул, довольный тем, что сумел настоять на своём и что ему удаётся вновь ступить в те места наперекор враждебной воле местного паши. Но тот, всё ещё не простивший его и желая уязвить его гордость, посылает ему навстречу отряд из целых шестидесяти всадников с категорическим приказом не допустить его возвращения. И действительно, едва он достигает Телькефа, находясь уже всего в трёх лигах пути от города, как они вероломно нападают на него, бросаются на его сопровождение и в одно мгновение обращают его в бегство, оставив нашего миссионера, который, впрочем, и сам защищался с жаром, на земле, тяжело раненного.

Подобранный по милосердию несколькими путниками, которые оказывают ему помощь и доставляют в Пиос, деревню, принадлежавшую бею Амадии, он три месяца не встаёт с постели и лишь затем может вновь добраться до Амадии, решив пробыть там долго. Однако счастливый случай позволяет ему снова устроиться в Мосуле. Сумев заручиться дружбой одного из доверенных лиц того страшного паши, он через его посредничество добивается того, что иначе было бы невозможно, и, отбросив прежнюю заносчивую манеру держаться, возвращается в город, где его принимает уже умиротворённый паша, дарующий ему в знак состоявшегося примирения богатую и великолепную меховую шубу.

Восстановленный таким образом в своей должности, Боэтти тотчас же с усердной заботливостью пытается возродить Дом миссий и всеми силами старается сделать его процветающим. С большим тактом ему сперва удаётся ловко держаться в этом трудном и коварном мире; но со временем его деспотические повадки и суровая нетерпимость в вопросах веры навлекли на него в Мосуле притеснения и обвинения, а из Рима — неприятности: там его деятельность комментировали без особой благосклонности, опасаясь, как бы она не породила смуты и раздоров.

К этим причинам, делавшим его положение миссионера всё более тягостным, вскоре прибавилась глухая, но упорная борьба, тайно поднятая против него восточными патриархами католического обряда, которые охотно бы от него избавились. Достаточно было следующего эпизода, чтобы переполнить чашу.

Несторианский патриарх Мосула отправил одного из своих племянников, назначенного себе в преемники, в Багдад, чтобы тот принёс исповедание католической веры перед епископом, монсеньором Байе, французским консулом и врачом местного паши. Когда новообращённый вернулся в Мосул, Боэтти придрался, что это исповедание было совершено не в надлежащей

форме, и потому объявил его недействительным. Так он открыто порвал с епископом Багдада, и из малого разногласия родилась большая вражда.

Многие начали враждовать с нашим миссионером, обвиняя его в чрезмерном рвении; вспыхнули распри самого разного рода, подогреваемые также тем самым отцом Гарцони, доминиканским миссионером, который теперь в Мосуле жил у несториан и который, как уже говорилось, приютил Боэтти в Амадии, а прежде уже проявил себя его соперником в вопросе преемства в Мосуле. Мало-помалу его пребывание там стало невыносимым, и поскольку он держался твёрдо и решительно, прибегли к клевете: письмами донесли на него Святому Престолу, обвиняя его в незаконной связи с «старшей дочерью первого господина Мосула из католической несторианской нации».

Однако, по-видимому, дело обстояло совсем иначе. Эта женщина, заметив, что находится в положении, никак не соответствующем девичьей непорочности, воспользовалась благосклонностью, которую отец Боэтти, пользовавшийся славой врача, ей выказывал, чтобы попросить у него средство избавиться от плода своих греховных любовных связей. И поскольку тот ответил ей и её родственникам, также об этом умолявшим, категорическим отказом, с тонким коварством был пущен слух, будто именно самому Боэтти следует вменить в вину позор того, что он злоупотребил неопытностью молодой девушки. Паша, немедленно уведомлённый, распорядился изгнать миссионера, сочтённого слишком галантным; а отец Гарцони поспешил сообщить обо всём в Рим, оправдываясь от непристойных обвинений.

И вот он уже через Месопотамию и Сирию направляется к Александrette, а оттуда на французском судне — в Марсель. Прежде чем следовать дальше, он отправляет отсюда письма с просьбой о разрешении явиться в Конгрегацию Propaganda Fide, заявляя, что готов дать подробнейший отчёт как о ведении дел миссии в Мосуле, так и о своём личном поведении.

В ожидании ответа он заканчивает «карантин», осматривает Прованс и, раздражённый тем, что из Рима ничего не приходит, снова пишет кардиналу Кастелли, главе упомянутой Конгрегации, прямо сообщая, что возобновляет путь в Рим, следуя маршрутом Ливорно — Флоренция.

Именно в этом последнем городе ему наконец удаётся узнать, что относительно него решено: а именно — немедленно прервать своё путешествие и возвратиться в свой монастырь.

Отец Боэтти принимает это очень дурно. Он знает, какого рода приём ждёт монахов, подозреваемых в виновности, поскольку тогда в братствах были в обычае суровые дисциплинарные наказания, и

подвергаться им он вовсе не намерен. Он вновь, но всё так же безуспешно, добивается из Рима разрешения защитить себя, и когда узнаёт, что Святая Конгрегация не желает вмешиваться в подобные вопросы, удаляется в родное Пьяццано, где ему дозволено провести зиму, подвергаясь назойливому любопытству, а порой и насмешкам земляков из-за своей длинной левантийской бороды.

Тем временем он продолжает ежедневно и настойчиво посылать в Рим прошения, всё твердя об одном и том же. Он убеждён, что именно Конгрегации надлежит разрешать споры, возникающие в местах миссий, и уверен, что если его желания не удовлетворяются, то причиной тому происки отца Ланцы, обосновавшегося в Риме, могущественного и деспотичного.

Когда же он понял, что законные пути для него закрыты, он не постыдился сделаться мятежником; решил больше не ждать и вновь отправиться на Восток уже по собственной воле, слепо доверившись судьбе. Об этом он без утайки сообщил в Рим и, отплыв из Генуи, высадился в Александретте.

В Алеппо он испытывает первые признаки той ожесточённой вражды, которая позднее поднимется перед ним во весь рост: на него смотрят как на отступника, от него бегут все, как от прокаженного. Но это не лишает его мужества; он пользуется случаем, что через Алеппо проходит караван паши Триполи, направляющийся в Урфу, предлагает свои услуги в качестве врача и, будучи принят, присоединяется к нему. По дороге ему удаётся завязать отношения с братом паши, Манхед-беем, который, по прибытии на место, поручает ему церкви Урфы.

Сначала всё идёт гладко. Боэтти, радуясь своей новой удаче, ведёт себя как настоящий миссионер и вкушает немного покоя; но как только приходят письма из неумолимого Рима, разъясняющие его поведение и клеймящие его за тяжкое неповиновение, он оказывается отвергнутым католиками и, напротив, поддержанным — более того, защищаемым — схизматиками, которые хотели бы возвести его в сан епископа своей секты.

Оказавшись таким образом между молотом и наковальней, Боэтти размышляет, как ему поступить. В глубине души он всё ещё хранит старое желание вновь занять своё место в Мосуле, откуда уже дважды и судьба, и люди его изгнали, и туда, прежде чем принять окончательное решение, он письмом осторожно зондирует почву. Но поскольку полученные ответы исключают всякую возможность соглашения, ибо возвращение ему категорически запрещено, а паша имеет дурное намерение, если только сумеет заполучить его в свою власть, предать его смерти, он не тратит времени на пустые колебания: позволяет своим новым приверженцам рукоположить себя во

епископа и всеми силами старается добиться того, чтобы католики и якобиты, оказывающие ему почтение, слились в единую религиозную общину.

Итак, став епископом якобитов Урфы, секретарём и казначеем паши, который вполне ему доверяет, считая его человеком необыкновенной проницательности и большого здравого смысла, Бозетти уже не слишком тревожится о будущем и довольствуется благами настоящего. Многочисленные и разнообразные жизненные испытания научили его ничуть не удивляться тому, что после стольких небесных бурь над его головой снова улыбается немного лазури. Мягкий в обращении, всегда готовый поспешить к ложу больных, благодаря известной ловкости в искусстве врачевания, приобретённой уже практикой, и столь же охотно приносящий нравственное утешение боязливым душам, освобождая их от сомнений очарованием горячего слова веры, он мало-помалу становится в Урфе дорог всем, делается арбитром всякого спора и становится тем, каким некогда мечтал себя видеть в своих прежних надеждах, — распространителем мира.

Но над его головой по-прежнему бдит его злая звезда: новый удар судьбы внезапно возвращает его к привычной бродячей жизни. В тот самый день, когда паша, его покровитель, утрачивает своё влияние и по приказу Порты арестовывается и заточается в крепости Сивас в Армении, а его приверженцы оказываются рассеяны, Бозетти вынужден искать себе более надёжное убежище.

На мгновение он обращает мысль к Мосулу, поддаваясь соблазну старых, неизгладимых воспоминаний, но вскоре меняет решение. Из Мардина, где он уже не находит двух братьев-кармелитов, которые некогда дали ему приют, — их унесла чума, свирепствовавшая в Месопотамии, — он решает отправиться в Константинополь, в надежде, что там сможет уладить своё дело при посредничестве французского посла и латинского епископа. И действительно, покинув Мардин и следуя через Диарбекир, он снова прибывает в Алеппо, затем продвигается к Александrette, далее сушей — до Александрии, а оттуда на английском судне — в Константинополь, где его встречают весьма радушно: французский посол, покровитель миссионеров, латинский епископ, сардинский консул, вставший на сторону своего соотечественника, его братья-доминиканцы — словом, многие заступники, которые писали в Рим, ходатайствуя за него.

Но Рим остаётся неумолим. В ответ Бозетти предписывают вернуться в монастырь; словом, от гордого и непокорного миссионера требуют покорности. И тогда он, с душой, переполненной негодованием, после того как прожил целых двадцать восемь месяцев в Константинополе — и не в Пере или Галате, а в маленьком доме в Енни-Кане, — полезно употребляя время на изучение турецкого и персидского

языков, что было для него не слишком трудно благодаря той полиглотической способности, которая составляла одну из характерных черт его многогранного ума, принимает решение стать совершенно независимым от всякой власти и уже вынашивает в себе странные и грандиозные замыслы.

Следует добавить, что за время своего долгого пребывания в Константинополе он под именем Пафлис занимался медициной и, благодаря той ловкой эмпирической сноровке, которая заменяла ему глубокую учёность, в короткое время приобрёл многочисленную клиентуру и широкую известность; не обошлось и без обычного любовного приключения, принесшего ему драгоценные вещи стоимостью во много пиастров — в награду за нежность, которую он во время отсутствия её мужа расточал прекрасной и богатой жене одного капыджи-паши, то есть придворного камергера Порты, влюбившейся в него.

Итак, этот наш лекарь, исцеляющий тела и ранящий сердца, когда сумел накопить своим искусством порядочное состояние и ещё пополнить его дарами этой своей весьма любвеобильной клиентки, а также заработками, полученными в доме Язги-эфенди, то есть секретаря султана Мустафы, где он служил в качестве химика, счёл, что настал благоприятный момент осуществить свои замыслы, и, покинув Константинополь, прибыл в Трабзон. Там, войдя в сношения с пашой Хаджи-Хали, он ведёт с ним тайные совещания, затем под видом армянина посещает Грузию и Персию, внимательно наблюдая всё, что может оказаться ему полезным. Оказавшись затем в Басре, он оттуда через пустыню добирается до Дамаска в Сирии, где продолжает свои технические наблюдения и делает важные записи. Но, застигнутый за тем, что чертил в своей записной книжке план города, был арестован как русский шпион и доставлен в Константинополь; тогда он объявил себя персидским армянином и добился того, чтобы ему поверили, выложив некоторую сумму денег — довод, который, быть может, оказался самым убедительным из всех, какие он мог привести в своё оправдание; таким образом ему было позволено отправиться на все четыре стороны.

Эта последняя неприятность потрясла душу Боэтти, и он задумчиво замкнулся в себе. Он видит себя окружённым опасностями, в негостеприимных местах, непрестанно терзаемым беспокойными мыслями, толкающими его на самые дерзкие предприятия. Желание покоя овладевает его душой, изнурённой усталостью от этой кочевой жизни без мира и пристанища, и мало-помалу в его сердце вновь пробуждаются прежние стремления к спокойной религиозной жизни. Правда, он не мечтает о тишине монастырского затвора, к которому, по горькому опыту, знает себя неспособным; но если непреклонное монастырское правило и было бы для него тяжким, то он понимает, каким благим утешением для его измученного духа могла бы стать опора твёрдой веры.

И потому, желая примирить мистические наклонности души, вновь воскресшей к столь долго забытым восторгам, с порывами своей натуры, жаждущей свободы, он решает стать светским священником. Ему улыбается мысль явиться в Рим, искупить все свои прежние прегрешения, вновь дать обеты послушания своим начальникам... Эта надежда оживляет и воспламеняет его; он покидает Константинополь и, через Смирну, после различных странствий, берёт курс на Ливорно, а высадившись там, в своих левантийских одеждах, направляется в Рим.

Едва ступив на землю вечного города, он чувствует потребность поспешно пасть ниц перед папским престолом; желание его скоро исполняется. Его вводят к папе, Пию VI Браски, и он уже готов раскрыть перед ним всю свою душу, уже намерен полностью покаяться в своих заблуждениях, как вдруг, охваченный внезапными сомнениями, объятый паническим страхом перед неизбежными наказаниями, удерживаемый гордым негодованием, он колеблется, смущается, молчит... Наш кающийся внезапно переменяет решение, не открывается, ни в чём не признаётся, покидает Рим и с сердцем в смятении поспешно удаляется в сторону Неаполя.

И вот он проводит пять месяцев в Неаполе; затем снова в Риме, где некоторые его покровители всё так же тщетно ходатайствуют за него словом милости; потом — в Триесте, в Вене, всё ещё моля, вблизи или издали, устами друзей, о том прощении, которого его гордость не позволила ему просить тогда, когда он стоял у ног понтифика. Наконец в Вене его настигает письмо Главы доминиканцев, который, однако, по обыкновению, предварив распоряжение отпущением всех его грехов, повелевает ему вернуться в монастырь своего ордена.

На дворе 1782 год. Предложение, некогда с презрением отвергнутое, теперь принимается нашим монахом без колебаний. Он тотчас достаёт себе рясу и является к настоятелю ближайшего монастыря, которому исповедует всё. Но спустя некоторое время его снова одолевают тревоги и страхи: он внезапно начинает опасаться, что братья собираются наложить на него суровые наказания в искупление прежних грехов, и решает возвратиться на родину, ещё раз лелея мысль стать светским священником.

Покинув Вену, вернувшись в Италию, вернее — в свой Пьемонт, и найдя там открытыми для себя двери монастыря в Трино, маленьком городе Паданской равнины, лежащем на полпути между Верчелли и Казале и недалеко от его родного монферратского селения, он, как и во времена новициата, проявляет себя образцовым монахом по тому усердию, с каким предаётся религиозным практикам. В этот период ему выпадает удача быть представленным министру короля Сардинии и

получить аудиенцию у самого короля Виктора Амадея III, для которого он исполняет некоторые поручения немалой важности, хотя и не считает себя за них достаточно вознаграждённым. Этими весьма высокими покровительствами он умеет воспользоваться для своих бесконечных прошений в Рим, к Святому Престолу, чтобы ему было позволено стать светским священником, но результат оказывается совершенно отрицательным. Более того, ответы оказываются столь малоутешительными, что и король, и министр отворачиваются от него.

И тогда он, принуждённо смиряя свой неукротимый дух, склоняя душу к открытому отказу от всех своих стремлений, следует монастырскому правилу, проводя дни в том обширном монастыре, который, украшенный соседней художественной церковью Святого Доминика, возвышается на окраине Трино, к воротам Казале, вдоль широкой дороги, что, спускаясь с великих Альп, тянется вдоль течения По, бегущей у подножия волнистых холмов Монферрата.

Если бы на этом месте, за недостатком свидетельств, пришлось прервать рассказ о жизни отца Дж. Б. Бозетти, кому-то могло бы показаться, что с возвращением в полумрак монастыря завершилась история странствий этого блудного сына Церкви.

Но в действительности жизнь нашего беспокойного монаха из Монферрата отныне станет ещё более бурной; и если здесь заканчиваются частные приключения странствующего миссионера, то начинаются его дела общественные, или, вернее сказать, политические, которые окружают его имя куда более широкой славой.

В тишине маленькой кельи он, забывая своё авантюрное прошлое, благочестиво предаётся молитве; но едва поднимается на кафедру, как смиренный монах преображается, и в пылу речи отдаётся стремительности своих мыслей, порой переходя пределы, установленные для священного красноречия. Однажды случилось, что, проповедуя перед многочисленной толпой, он впал в лихорадочное возбуждение. И вот внезапно он забывает святого и его панегирик и на языке гипербол, с чарующей силой образов, начинает щеголять тысячью разрозненных экзотических сведений, накопленных за долгие годы странствий по странным и различным землям; с покрасневшимся лицом, извиваясь и жестикулируя, рассказывает о далёком Востоке, вызывает перед слушателями те чарующие пейзажи, беспредельные горизонты пустыни, пламенеющие закаты, полные таинственной притягательности, — речью горячей, вдохновлённой глубоким чувственным началом.

Слушатели, скорее поражённые необычностью происшедшего, нежели тронутые странными отступлениями монаха, смотрят на него в недоумении; но когда он сходит с кафедры, к нему подходит настоятель и сурово его отчитывает, замечая, что его проповедь **sapit haeresim** — «отдаёт ересью».

Лучше бы он этого не делал!

Боэtti, всё ещё дрожащий от только что произнесённой проповеди, теряет самообладание, бросается на отца-приора и, быть может, оставил бы его тяжело избитым, если бы не вмешались подоспевшие верующие. Разумеется, после такой вспышки ему уже невозможно было оставаться среди этих мирных и кротких собратьев; и добрые намерения, внезапно выпавшие у него из души, он вновь обращает ум к своим прежним замыслам.

Итак, видя, что всякая надежда на папское согласие угасла, тщетно попытавшись сблизиться со своими родными, которые его презрели и изгнали из отцовского дома, приняв окончательное решение освободиться от всякого рода уз, он энергичным письмом уведомил Рим, что, раз ему не дают дозволения избавиться от монашеской рясы, он сам её с себя снимает и свободно избирает собственный путь.

Так начинается новая и ещё более необычная одиссея — одиссея ностальгического странника, который без отдыха идёт к далёкому миражу.

Итак, в начале 1783 года, после немногим более чем годичного пребывания в Трино, он покидает этот город и, сев на корабль в Ницце, прибывает в Аликанте, в Испании; из Кадиса отплывает в Англию, где остаётся около двух недель, затем, с намерением познакомиться с городами, осмотреть арсеналы, осторожно вести переговоры о крупных закупках оружия, заключать тайные соглашения, находить широкие связи, которые впоследствии ему понадобятся, через Гамбург достигает Петербурга.

Оттуда он — с упорством, которое может показаться странным в человеке, столь мало склонном к смиренным мольбам, — терзаемый в душе последними колебаниями, прежде чем окончательно сжечь за собой все мосты, ещё раз возобновляет свои прошения к Риму, шлёт с этой крайней земли последний отчаянный призыв, который остаётся без ответа и замирает... После четырёх месяцев напрасного ожидания он ощущает себя твёрже, чем когда-либо, в своих убеждениях, без угрызений совести, как человек, испробовавший все средства, какие были в его власти.

Однако в России в 1784 году он не находит прочной опоры. Князь Потёмкин не выказывает особой готовности его поддержать, и он продолжает круг своих тайных разведок. Он посещает Москву, пересекает губернии Казани и Астрахани, снова вступает в Персию, объезжает её и через Грузию и Крым вновь видит Константинополь; оттуда отправляется в Польшу и, после долгих колебаний, наконец снова обосновывается в Константинополе.

Это всё та же столица, которая его завораживает и к которой, словно мотылёк, кружащий вокруг огня, он роковым образом чувствует непреодолимое влечение. Живёт он теперь в Скутари у богатого персидского купца, редко показывается в предместьях Перы и Галаты и никогда не появляется на людях, не приняв вида человека задумчивого и озабоченного.

После внезапного исчезновения и продолжительного отсутствия в шесть месяцев он вновь появляется — и на него смотрят как на воскресшего. О нём шепчут самые фантастические слухи; между прочим, ходит молва, будто он истратил крупную сумму на закупку боеприпасов и оружия, которые тайно были складированы на Чёрном море, в Синопе.

Однажды, в январе 1785 года, он покидает Константинополь с караваном, направлявшимся в Эрзерум, столицу Армении, сопровождаемый тремя европейцами, которых он привлёк к себе деньгами, и имея в спутниках того самого богатого персидского купца, прежде бывшего его хозяином. Добравшись до Эрзерума, купец отправляется в Багдад; трое европейцев следуют за Боэтти на некотором расстоянии; сам же он, вновь вступив в Персию, пересекает её вдоль и поперёк, а затем обосновывается в Амадии, в Курдистане, где, сняв дом, запирается в нём и не выходит оттуда целых девяносто шесть дней.

Но за какой ослепительной фата-морганой гонится этот молчаливый человек, преследующий ускользающую удачу с таким упорством, словно в нём жива абсолютная вера, что рано или поздно он непременно её настигнет?

Его поступки открывают нам существование в его душе кризиса, рождённого противоречием между его религиозными стремлениями и ненасытной, назойливой жаждой господства; и, поистине, все обстоятельства его кочевой жизни как будто нарочно были созданы не для того, чтобы разрешить, а чтобы ещё более обострить эту мучительную внутреннюю борьбу.

Во время своего добровольного затворничества его замысел приобретает ясные очертания, его колеблющиеся планы обретают форму, и отвергнутый миссионер, кающийся, которого Рим отверг,

решает объявить себя **Пророком, посланным Небом исправить злоупотребления, проникшие в соблюдение мусульманской религии.**

Предприятие это было неслыханным и фантастическим, таким, что человеку, мало знакомому с тем внушением, какое могут производить на некоторые легко возбуждающиеся народы пламенные религиозные проповеди, оно могло бы показаться даже смешным и наивным. Но пронизательный монах считает его дерзким, да — однако осуществимым, и убеждается в этом всё более, когда с большой осторожностью ему удаётся испытать людские души. Он знает восточные языки настолько, насколько это нужно для его цели, прекрасно знаком с местами, нравами и склонностями этих народов, располагает широкими личными связями и видит, как перед ним расстилается дорога, по которой он собирается дерзновенно идти, уверенный в своей цели.

Итак, когда миновал этот первый период задумчивых размышлений, Бээтти выходит на улицы Амадии, являясь людям открытым, весёлым, безмятежным. По словам одного из его биографов, «он велел обрить себе голову, оставив лишь хохолок на макушке, за который Магомет схватит его, когда захочет перенести на небо. Он надел на голову зелёный тюрбан — знак того, что он родственник великого Пророка. Он облачился в белую шерстяную джеллабу, с двумя чрезвычайно широкими шальварами, подпоясанными сбоку шнуром, называемым *диккех*; на ноги надел *меркуб* — жёлтые туфли».

Сначала он соблюдает умеренность и в поступках, и в речах: на его лице изображено торжественное спокойствие, в его словах — иератический мир; всякая его речь неизменно звучит в торжественной пророческой тональности. Он беспрестанно рассуждает о небесных предметах, о богослужении, о злоупотреблениях, проникших в магометанскую веру; с горечью повторяет, что сердце его скорбит при виде жалкого зрелища мусульман, впавших в подобные заблуждения, и заключает, что именно ради их искупления он и был, с благоволения Неба, подвигнут в путь.

Позднее, когда его слова начинают производить впечатление, он принимает более решительный вид и, выказывая глубокое волнение, раздражается речью сквозь слёзы; словно терзаемый внутренними муками, он содрогается, мечется, корчится в тоске и заявляет, что не может более терпеть того, чтобы Всемогущий почитался столь недостойным образом.

Этим приёмом он сумел привлечь внимание публики, и вскоре его тактика восторжествовала: сперва на него смотрели с необычайным изумлением, потом — с живым интересом, ибо действительно казался достойным внимания человек, который так страдал из-за бедствий ближних; в конце концов

ему стали доверять слепо. Покровители, друзья, любопытные, та самая бесформенная толпа, которая появляется отовсюду, едва только почует новизну, и всегда готова очертя голову броситься в самые безрассудные предприятия, — образовали первое ядро его последователей; разнородное собрание людей, по большей части татар и черкесов, которые, доверчиво внимая его проповедям, начали распространять весть о явлении божественного Пророка.

Чтобы укрепить внезапно возникшую славу нашего искуснейшего шарлатана, весьма кстати прились некоторые удачные физические опыты, которые он проделывал с величайшей простотой и поразительной непринуждённостью; а затем окончательный удар тем, кто ещё сомневался в нём и в его учении, нанёс следующий замечательный эпизод.

Будучи приглашён ханом Амадии, пожелавшим увидеть вблизи и задать несколько вопросов человеку, который уже некоторое время производил в городе столько шума, Боэtti без колебаний является к нему и отвечает с такой прямоотой и словами столь убедительными — быть может, именно потому, что они были не слишком понятны, — что хан смотрит на него поражённо и смущённо, убеждаясь, что перед ним действительно человек, достойный почитания. И поскольку наш новоиспечённый Пророк осмеливается твёрдой рукой и с уверенным лицом схватить пылающую головню, а затем показать ладонь, на которой не осталось ни малейшего следа ожога, хан без всякого стеснения высказывает своё мнение, объявляя его подлинным посланником Божьим.

Вскоре после этого хан дарит ему десять серебряных монет; новоявленный пророк принимает их с насмешливой улыбкой, бросает в огонь, наклоняется над жаровней, бормочет какие-то невнятные слова, затем выпрямляется и заявляет, что Всемогущий не нуждается в деньгах, чтобы утверждать свои права на земле, и удаляется, не прибавив ни слова и не уступив настойчивым просьбам присутствующих, которые хотели, чтобы он забрал с собой подаренные монеты.

И как будто этого было мало, после его ухода последовало нечто вроде чуда. Едва он удалился, в огне нашли золотые монеты вместо серебряных. Немедленно кинулись искать Пророка, но наш мистификатор успел исчезнуть, дав тем самым народу, который уже начинал почитать его святым, поразительное доказательство своей пророческой природы.

Само собой разумеется, едва он понял, что игра идёт ему на руку, он с ловкостью, равной его дерзости, стал умножать подобные фокусы, мгновенно угадывая удобные случаи. Вот, например, однажды, стоя у подножия небольшого дерева на одной из площадей Амадии, он начал говорить с

народом и, мало-помалу всё более распаляясь, принялся делать необычайные откровения. Между прочим, он сказал, что, поскольку вера, которую в него питают, ещё слаба, он, с Божьей помощью, исчезнет с глаз всех присутствующих, не дав им даже времени это заметить.

Тогда среди слушателей поднялось сильное смятение: было решено денно и ночью сторожить его дом, чтобы не допустить, чтобы он и впрямь исчез; но всякая стража оказалась тщетной, ибо уже на следующее утро пришлось, среди громчайших криков изумления и скорби, удостовериться, что Пророка больше нет, и что невозможно отыскать даже малейшего его следа.

Каков был тот скрытый способ, к которому прибегал этот наш заволаживатель толп, нам не дано раскрыть; несомненно лишь то, что, чтобы провести мусульманских сторожей, ему не могло не хватать верного человека, слепо ему повинующегося и помогавшего в его дерзких махинациях.

Зато нам известно, что спустя немногим более месяца он находился в Трабзоне, где имел продолжительные беседы с пашой, а затем — в Гюмюшхане, большом армянском селении, откуда, верхом на осле, возвратился в своё излюбленное персидское селение, где был встречен величайшими проявлениями ликования.

Наш пророк, погружённый в свои планы, выказывает полное равнодушие к праздничному шуму возбуждённой толпы: он умеет чередовать красноречие проповедей с глубокой внушающей силой молчания. Наконец, проведя восемь дней в упорном безмолвии, он внезапно раскрывается, провозглашает себя религиозным реформатором, объявляет цель своей божественной миссии, возвещает, что события уже созрели.

Дерзости, окутанные тайной, всегда сильно действуют на толпу: и в самом деле, эти его необычные приёмы доставляют ему многочисленных приверженцев. Находится даже богатый местный господин, который в знак почтения предлагает ему в жёны собственную дочь; но он благоразумно отказывается, ограничившись, как обычно, принятием её состояния.

Итак, богатый теперь и верными последователями, и деньгами, он разворачивает по ветру военное знамя и, провозглашая, что намерен установить радикальную реформу религии, с надменной бравадой объявляет, что идёт на Константинополь, дабы посадить на тот престол князя, верного блюстителя закона человеческого и божественного.

Поэтому он, опытным глазом, выбирает из хвоста своих последователей девяносто семь человек с бесстрашным сердцем и с этой «Ротой Смерти» становится лагерем на османской границе, разбивает нескольких ага, выступивших ему навстречу, и углубляется на турецкую территорию.

Не прошло и месяца с его выхода из Амадии, как однажды он производит смотр своим людям, к которым всё это время непрерывно примыкало множество всякого сброда из солдат; с ними, насчитывавшими уже 2742 человека, он оказывается в состоянии нанести полное поражение губернатору Акески, вышедшему против него со всеми силами, какими располагал. Отбив таким образом внезапную вылазку неприятеля, наш Пророк тотчас пользуется случаем этого счастливого боевого крещения, чтобы принять титул **Мансур**, слово, которое на языке его фанатичных прозелитов означает **Победоносный**.

Пророк Мансур прибавил, таким образом, к своей славе религиозного восстановителя ещё и славу непобедимого воина: его ряды растут день ото дня, и он видит, как мало-помалу под его знамёна стекается целая армия.

Однако, несмотря на горячие настояния своих людей, он благоразумно считает, что не следует входить в Акеску; вместо этого он поворачивает к Эрзеруму, принуждая этот город уплатить ему военную контрибуцию. А когда видит, что его войска насчитывают уже тридцать семь тысяч человек, которых он держит в узде внушающей властью и деспотической авторитетностью и сохраняет в боевой готовности непрерывными упражнениями, он решает вторгнуться в Грузию, где под покровительством России (по Кючук-Кайнарджийскому договору 1774 года) правит князь Ираклий.

Тот, перед лицом неожиданного вторжения этих орд, воспламенённых воинственным неистовством словами Пророка, выходит в поле со своими войсками, среди которых немало русских солдат, и направляется против войск Мансура, разделённых на четыре отдельных корпуса, одним из которых командует сам Боэtti.

Тактика, которой следует Пророк в этом генеральном сражении, вдохновлена искусными стратегическими замыслами. Разделив войска, как было сказано, он наблюдает за всеми приготовлениями с осторожным взором и рассудительным умом, но с духом, готовым на всё. Пока строятся ряды, происходит эпизод, показывающий, как он умеет с невероятным хладнокровием извлекать пользу из всякого случая, чтобы вырасти великаном в воображении своих людей.

Один из подчинённых ему командиров, по собственному произволу, совершил не предусмотренный маневр, который мог повлечь гибельные последствия; тогда он велит ему оправдаться. И поскольку тот отвечает на вопрос с некоторой заносчивостью, наш Пророк раздражается смехом, не прибавив ни слова. Однако, когда уже все полагают, что дело этим и кончится, он, нисколько не меняясь в лице и всё ещё смеясь, приказывает задушить этого командира.

Такими скорыми мерами он укрепляет свой тиранический престиж, делает принцип власти догматом: доведённые до такого слепого повиновения, его случайные войска приобретают удаль регулярных частей, и едва он подаёт сигнал к бою, как они яростно бросаются на войска Ираклия.

Сам Пророк тем временем, оставаясь в резерве со своим подвижным корпусом, спускает с цепи солдат, которых до того едва удерживал, и с их помощью, подоспевшей как раз вовремя, одерживает победу, учиняя над неприятелем настоящую бойню.

О нём рассказывают, что в самый разгар схватки он, сидя на коне, писал письмо на турецком языке и тотчас отправил его с курьером в Трабзон, ловко давая своим людям понять, будто тот губернатор состоит с ним в тайном сговоре.

Одержав таким образом громкую победу, он и не думает почивать на лаврах, но с жаром преследует беглецов, доходит до Тифлиса, врывается в город и, зная, как солдаты жаждут дикого торжества грабежа, отдаёт его на разграбление своим головорезам.

Говорят, что в этом сражении погибло двадцать две тысячи грузин, а число захваченных им и проданных на константинопольском рынке рабов исчисляют в десять тысяч; но даже если сделать скидку на эти цифры, успех, достигнутый Мансуром, всё равно остаётся весьма значительным. Разумеется, Пророку были отведены самые красивые грузинские рабыни, которых он принял, чтобы, по крайней мере так он говорил, уберечь их от оскорблений солдат; точно так же он сосредоточил в своих руках и всю захваченную добычу, под предлогом, будто хранит её для общих нужд.

Рассказывают также, что один грузинский князь, из страха, обязался выплачивать ему крупную денежную контрибуцию и дань в триста рабов, мужчин и женщин; и всем этим, хотя и выказывая мало удовлетворения, победоносный Пророк делает вид, что пока довольствуется, поскольку ему, как он говорит, надлежит продолжать свой поход к намеченной цели.

Бедный монах, который так долго грезил лучезарной удачей, теперь видя, как его войско всё более усиливается благодаря множеству людей, добровольно стекающихся под его знамя, — охваченный внезапными порывами восторга, становится гордым, дерзким; поддерживаемый фанатизмом своих, он решает сыграть последнюю карту, то есть попытаться осуществить столь громко возвещённую религиозную реформу.

Поэтому, не углубляясь далее в Грузию, он приводит свои войска к Акеске, где располагается лагерь; отправляет в направления, никому не известные, нескольких тайных посланцев, из которых лишь один, направленный в Смирну, возвращается в сопровождении семерых людей, одетых по-турецки, но вовсе не говорящих на этом языке; он щадит область Нахичевани, которая стала бы лёгкой добычей, если бы он её пожелал, приводя в оправдание любовь, которую питает к монахам Святого Доминика, там пребывающим, и потому воздерживается причинять им какое бы то ни было беспокойство.

К этому времени относят составление нового догмата, им провозглашённого: странной смеси религиозных и нравственных предписаний, составленной из изречений, отдающих ересью и безнравственностью и льстящих низменным инстинктам его приверженцев.

Эти причудливые доктрины, в которых заключены самые противоречивые теории, возникшие из гибридного смешения христианских норм и правил, заимствованных из самых разнородных источников, заслуживают того, чтобы быть приведёнными целиком в их странном французском языке, ибо Пророк Мансур положил их в основание всякой своей проповеди.

Итак, приведём из “**Relazione**” (отчета), служащей нам документом, эту характерную страницу:

I. Есть только один Бог, которому надлежит поклоняться в духе и истине; всякий внешний культ оскорбляет Его.

II. Этот Бог неделим; Он — один, а не три.

III. Христос был человеком праведным и святым; Он был пророком, как и многие другие.

IV. Для верных существует награда, для нечестивых — наказание, но оно не вечно.

V. Молиться Всемогущему и благодарить Его — постыдное преступление.

VI. Все люди спасаются, если они праведны, — каждый в своей религии.

VII. Наслаждения Рая состоят лишь в вечной жизни, лишённой всякого рода зла.

VIII. Мир имел начало, но никогда не кончится.

IX. Государя — образ Божий, если он таков, каким ему надлежит быть.

X. Прелюбодеяние — великий грех.

XI. Блуд вовсе не является грехом.

XII. Убийство — несправедливо; Бог и люди его карают.

XIII. Кровосмешение — вещь естественная и не является грехом.

XIV. Воровство есть грех, когда крадут не по крайней необходимости.

XV. Крещение и обрезание — всего лишь смешные обряды.

XVI. Обеты, которые дают во всех религиях, — это безрассудства, подлежащие наказанию.

XVII. Папа и муфтий — самозванцы.

XVIII. В некоторых обстоятельствах дозволено убить самого себя.

XIX. Нарушить своё слово и свою честь — великий грех.

XX. Трусов, малодушных и скупцов следует лишать их достоинств и богатств и ссылать на полевые работы.

XXI. Женщина, застигнутая в прелюбодеянии, должна быть побита камнями.

XXII. Девушка может распоряжаться своим телом, как ей заблагорассудится; она сама ему хозяйка.

XXIII. Предателя следует убить.

XXIV. Следует любить Бога превыше всего и ближнего своего, как самого себя.

Сведя в этих двух дюжинах пунктов свой поразительный **религиозный Устав**, Пророк приказывает прочесть его солдатам, распространить среди всех своих последователей, а затем, явившись перед

ними в вдохновенной позе, постановляет, чтобы те, кто не примет этого новейшего уложения, были без всяких разговоров преданы смерти.

И тогда все клянутся соблюдать его с верностью и в один голос отвечают:

— **Авед, Авед!** — то есть: **да будет так, да будет так!**

Отныне жребий брошен.

Пророк уже не отступит до самой смерти. Воспламенённый своей мечтой, он посредством самовнушения приходит к убеждению, что рождён для великих дел, и выставляет себя носителем новых религиозных и политических законов, принесённых на землю. Поэтому он благосклонно принимает людей доброй воли, которые, преклонившись, предлагают ему своё почтение; но без промедления устраняет холодных последователей и равнодушных.

Так, однажды, проезжая через лагерь, он застал двух турок, молившихся Богу по старому обычаю; он останавливается, соскакивает с седла, обнимает их, словно желая проститься навеки, объявляет обоим, что смерть необходима, ибо они нарушили присягнутый закон, и прежде чем несчастные успевают оправиться от изумления, одному он разносит череп выстрелом, другого пронзает своим кинжалом.

Он знает, какую огромную силу имеют в глазах толпы эти показательные кары, совершаемые твёрдой рукой и ещё более твёрдым сердцем; он уверен, что никто более не осмелится нарушить его властный кодекс.

Итак, среди восторга своих войск, которые, как утверждают — быть может, не без преувеличения, — достигают уже громадного числа в восемьдесят тысяч человек, он движется к Сивасу и, не причиняя никакого зла населению, которое встречает на своём пути, ограничивается тем, что требует тяжёлые дани и включает в свои ряды как можно больше людей, которые к нему переходят.

И между тем он без устали повторяет, с тоном внутренней убеждённости, что он — отец, брат, друг всем, посланный Богом, чтобы принести мир между людьми; обещает защиту и счастье тем, кто ему повинуется, и грозит истреблением тем, кто, добровольно приняв его заповеди, осмелится затем стать клятвопреступником.

А чтобы казаться истинным Пророком, сознающим своё призвание, он напускает на себя большую простоту в обращении, спокойную ясность мыслей, евангельское милосердие, являя себя щедрым на милостыню беднякам, на утешения скорбящим, на советы всем, кто к нему прибегает.

Порой на него внезапно накатывали ностальгические порывы, обращавшие его к прошлому, и, размышляя о своей прежней жизни, столь непохожей на нынешнюю, он иногда восклицал примерно так:

— Ах, Рим, Рим! Ты теряешь своих сынов, несправедливый Рим!

Но эти сожаления были недолговечны; напротив, по контрасту они делали его лишь ещё сильнее враждебным тому миру, с которым он простился, и превращали в ещё более упорного продолжателя своего религиозного и военного предприятия, уже окончательно созревшего в его уме, как явствует из письма, которое он направил в Трабзон одному своему армянскому другу, доверяя ему, что рассчитывает, при благоволении судьбы, установить в Азии и в Европе единую религию.

Иногда же он раскрывал душу, смягчённую внезапной потребностью в человеческой привязанности, и, например, однажды признался в следующем:

— Я не происхожу из богатого рода, — говорил он, — но обладаю великим сердцем и благородной душой; я готов прощать своим врагам, воздавая им добром за зло.

Наиболее важные откровения он обычно изливал своему врачу, с которым подолгу беседовал:

— Я в своей совести совершенно спокоен и мирно совершаю своё дело, — замечал он по поводу того смятения, которое другие могли бы в нём предполагать, видя, как из миссионера он превращается в апостола нового религиозного вероучения.

И добавлял, что источник всех его несчастий — в жестокости его родственников, которые, изгнав его из родного дома, лишь усилили в его сердце порывы независимости и бунта.

В публичных речах он затем излагал и по-своему толковал удивительнейшие положения, вдохновившие его при составлении законов его **религиозной Реформы**, и с многословным изобилием утверждений — одни из которых были разумны, а другие самыми парадоксальными —

разъяснял те **двадцать четыре статьи**, которыми, как он полагал, можно было заново переделать мир.

Стоит привести здесь из упомянутой **Relazione** (отчета) отголосок подобных его речей, чтобы понять весь клубок его странных мыслей.

- Будем же идти вперёд, братья, друзья мои, будем двигаться к нашей цели; Бог того хочет! Он ведёт нас, Он нас защищает!

- Не причиняйте никакого зла невинным и христианам. Не думайте, будто христианская и магометанская религии ложны и противоречат друг другу; обе имеют прочные основания, обе равноценны.

- Лживы, напротив, почти все их служители.

- Закон Магомета и закон Христа вовсе не различны; лишь одно невежество виновато в том, что так запутало понятия, заставив их казаться противоположными и сталкивающимися друг с другом. Подвергнем же их реформе, возвратим магометанской религии её древнюю чистоту — и тогда мы увидим, что она подобна христианской, если рассматривать последнюю в её первоначальной сущности; и та, и другая предстанут перед нами в одном и том же облике — благородными и достойными.

- Ибо, в конечном счёте, надлежит заключить, что существует только единый Бог и только единый закон, тогда как пророков Его — великое множество.

- И после меня придут ещё многие.

- Тот, кто предсказал разрушение Ниневии, также принадлежал к их числу, и ныне его более нет.

- Я — Пророк предрекаю то же самое Константинополю.

И, всё более распаляясь, одержимый, он продолжает проповедовать пророческим тоном:

- Я видел руины Ниневии и внимательно их осматривал.

- Ионаса более не существует, но я проживу столько лет, чтобы стать свидетелем разрушения Константинополя.

- И разве Рим будет существовать вечно?

- Его стены, без сомнения, останутся стоять, но падут его несправедливости и его эфемерная власть.

- Селим мог бы, пожалуй, осуществить реформу, но времена ныне неблагоприятны.

- Магомет был великим человеком, но дал политике совратить себя, утратив собственную искренность; он говорил слишком сложным языком, который не могли понять ни его друзья, ни его враги, ни даже он сам.

- Вот настал день, братья, мои спутники, день, избранный Богом для того, чтобы мы истолковали таинственные слова Магомета.

- Мусульмане нашего времени не способны рассуждать.

- Муфтий Константинополя и Шериф Мекки — невежды, обманщики; это слепые, ведущие других слепых. Их необходимо просветить.

- А поскольку Селим и сам недостаточно просвещён, он должен уступить своё место и удалиться.

Затем он переходит к рассуждениям о религиозной морали с внезапным смирением:

- Будем остерегаться искушений; да не смущают нас честолюбивые мечты о земном владычестве; вознесём горячие молитвы Всемогущему, дабы Он благоволил сохранить нам Своё покровительство.

- Я ничего в этом мире не жажду, кроме как славы Божией и истребления Его врагов. Никто не знает, кто я такой, и, возможно, ещё долго никто этого не узнает.

- Во всём должен царить порядок, поэтому я приказываю, а вы повинуетесь; однако я не буду приказывать ничего, что не соответствовало бы справедливости.

- Бог милосерден и всемогущ, и в некоторой мере таковы и Его пророки.

- Существуют на свете злодеи, которые ненавидят меня; я их ясно вижу, они плетут козни против меня; но я их презираю, и если всё же кого-то накажу, других оставлю на возмездие Божие, которое справедливый защитник своих верных, так же как Он добр и милосерден. Он умеет, то есть, охранять Своих служителей и защищать их от злых козней трусов и слабаков.

- Тот, кто решит убить меня, ошибётся в своих расчётах, ибо я буду готов возродиться столько раз, сколько будет необходимо для славы Вечного и триумфа Истины.

Слова пророка с площади, предсказывающего будущее, который, читая по лицам слушателей поражающий эффект своих смелых речей, изрыгает с ещё большим пылом:

- Люди, люди! Откройте глаза! День света! Солнце, будучи лишь неживой звездой, освещает всех людей, кроме тех, кто прячется, чтобы не видеть его лучей.

- Муфтий и министры закона ничего не знают и лишь повторяют ошибки своих предшественников.

- Всемогущий Бог предназначил нас для реформы огромных злоупотреблений, которые разрушают все религии.

- Блаженны те, кто услышит слово Божие, проповедуемое Его слугами!

- Бог обладает достаточной мощью, чтобы наказать злодеев, и Его слуги также будут обладать достаточной силой, чтобы наказать Его врагов.

И он снова и снова возвращается к своим общим заповедям, в которые, хаотично, смешивает возвышение собственной миссии реформатора, дарованной ему небом, в совершенно таинственном виде:

- Мир имел начало, но его существование вечно. Мусульмане, христиане, иудеи — если в доброй вере и послушны слову Божию — избраны к славе, ибо все они созданы по образу и подобию Его.

- Иисус Христос был великим пророком; Мария — Девица, жена и мать.

- Первые ученики Иисуса были праведными людьми, в то время как ученики Магомета стремились лишь к собственной выгоде, за исключением одного, который ныне пред ликом Милосердного Бога. Все их последователи были лишь мошенниками, обманувшими добрую веру последователей.

- Константинополь будет разрушен Божьим гневом; Он не воспользуется оружием воинов, но тем, которым может служить разгневанный Бог!

- И необходимо искоренять зло с корня.

- Больше не будут говорить ни о Рамадане, ни о Посте.

- Бог один, неделим.
 - Он хочет, чтобы Ему поклонялись только в одной форме культа.
 - Он Господь земли, которой может распоряжаться по Своей воле, даруя империи тому, кто Ему угоден.
 - Все богатства земли не приносят счастья; его можно достичь лишь должным служением Богу.
 - Вот, друзья, братья мои, мои сокровища, почти неизмеримые.
 - Я обладаю грозной армией, составленной из самых доблестных воинов и самых преданных слуг Божьих.
 - Каждое наше предприятие благословлено Всемогущим.
 - У меня великое множество самых прекрасных женщин на земле. И что же! Всё это не делает меня счастливым. Вы знаете, что до сих пор я не пользовался ни одной из этих красавиц. Из всех моих огромных сокровищ я пользуюсь ими лишь для славы Божией и блага ближних.
- И, возбуждая души, уже доведённые до напряжения и потрясённые его пророческим воодушевлением, он сеет семя великого военного завоевания, о котором мечтает:
- Я стремлюсь лишь служить Богу и дарить мир душе моей. Недавние победы, добытые нами в Грузии, являются обещанием ещё более колоссальных триумфов.
 - Необходимо разрушить все Вавилоны мира: я лишь орудие, которым Бог хочет воспользоваться; вы — победители и воины, за которыми Бог наблюдает с высокого престола.
 - Он с вами и ради вас. Вы станете реформаторами империй мира и божественного культа. Ваши имена станут бессмертными и будут помниться с великим уважением и высочайшим почтением всеми поколениями.
 - С вами, мои дорогие спутники, мы победоносно пройдем всю землю; с вами ни одна экспедиция не будет трудной.
 - Бог видит нас: Он с нами.

- Я вижу и чувствую, что в вас загорается великая любовь к славе Божьей и вашей собственной; я знаю, что только вы способны сокрушить всех злодеев, разгуливающих по поверхности земли. И всё же, ради той же самой любви к Богу, которая нас воспламеняет, нельзя ни презирать, ни отвергать тех, кто по своей воле присоединяется к нам в соработничестве.

Так, в вихре самовосхвалений, пророческих обещаний и нападков на недоброжелателей, он сумбурно разворачивал свой невероятный замысел.

Который, если в своей сути имеет какую-то ценность как великая идея универсальной религии, пронизывающая его, на практике подчинён непрерывным капризам и утопическим амбициям Боэтти, и в конечном счёте предстает как комплекс хаотичных доктрин, плод разгорячённого чрезмерно амбициозного разума, увлечённого странным мистицизмом.

Однако последующие события доказывают, что он пробил себе путь в души слушателей.

Щедрый раздаватель не только заповедей, но, как уже говорилось, милостыни, он завоёвывает толпы; дерзкий до безрассудства, энергичный и неутомимый, он чередует воодушевляющие наставления с терпеливыми военными упражнениями, чтобы обучать свои ряды.

Когда же он доволен своими приготовлениями, спокойный, невозмутимый, как будто дело касается самой простой задачи, он отдаёт приказ идти на Константинополь.

Во время продвижения его догоняют посланники, присланные князем Ираклием, который, опасаясь гибели из-за слабой поддержки России, заключает с Пророком Мансуром соглашение, предлагая ему почётные и выгодные условия. Пророк принимает их с благосклонностью, но требует следовать за ним, заявляя, что не готов обсуждать дела наспех.

Он продолжает свой марш, и через три дня приостанавливает его, чтобы насладиться княжеской охотой, во время которой к нему прибывает Капиги-Баши с секретной дипломатией от Порты.

Переговоры, которые он вёл с турецким посланником, остаются окутанными тайной. Несомненно лишь то, что, завершив охоту, Пророк несколько изменяет маршрут, направляясь к югу, словно намереваясь идти к Смирне.

И действительно, он разбивает лагерь в шести днях пути от этого города, и во время этой новой остановки его посещают ещё один капиджи-баши и эфенди, которые приносят ему значительные

дары. Он принимает всё и часто беседует с ними, однако не позволяет просочиться наружу ни малейшей подробности этих тайных совещаний.

Именно с этой целью, уже с момента прибытия первого капиджи-баши, он перестал пользоваться услугами своего греческого секретаря, опасаясь, что из-за его болтливости его тайны будут разглашены; и что это недоверие было вполне оправданным, доказывает тот факт, что именно этот доверенный в итоге раскрыл и предал огласке тайну происхождения нашего авантюриста.

Когда представился удобный случай, упомянутый греческий секретарь бежал в Константинополь с красивой рабыней, при этом ещё и обокрав Мансура: он похитил у него шкатулку, в которой, наряду с драгоценными камнями и ценнейшими самоцветами, был найден **Дневник Боэтти**, написанный его собственной рукой.

Как мы уже говорили, наш Пророк оказывает любезности всем, кто является к нему послом, но в обращении с ними неизменно сохраняет своё величие и власть; и в тот день, когда некий эфенди позволил себе говорить при нём громко и властно, он без промедления приказал посадить его на кол, а его отрубленную голову передал капиджи-баши с приказом отвезти её султану в Константинополь.

Капиджи-баши, ошеломлённый этой неожиданной и быстрой казнью, опасаясь подобной же участи для себя, тотчас покорился воле Пророка, который заявил, что поступит так же со всяким, кто осмелится проявить к нему недостаточное почтение; и тот пал перед ним ниц, почти в жесте поклонения.

Даже сама Порта, хотя и оскорблённая, и глубоко уязвлённая этим унижением, поражённая столь дерзкой отвагой, не ответила немедленно: она созвала совет для обсуждения, и поскольку там возобладали осторожные мнения, было решено отправить Пророку второе посольство — с ещё большими и более ценными дарами. Со своей стороны он никогда ничем не отплачивал, если не считать благосклонных слов, которыми, как истинный победоносный государь, выставлял напоказ свою покровительственную «защиту», даруемую Порте.

— Скажите вашему султану, — повторял он этим новым послам, прибывшим к нему, из которых один был турок, а двое других — европейцы, — чтобы он был спокоен, чтобы он оставался верным блюстителем того Закона, который я ему проповедовал, и чтобы никогда не нарушал данного

слова и не пытался меня предать. В таком случае я буду ему верным другом; но если хотя бы тень подозрения омрачит наши отношения, пусть знает: ему придётся горько об этом пожалеть.

Но что же всё-таки склонило Пророка — столь значительные предложения Порты или же просветлённость его ума, внушившая ему понимание безумия, которое он готовился совершить, устремляя свои замыслы на сам Константинополь?

Обстоятельства эти остаются туманными, но несомненно одно: если слова Пророка к послам звучали высокомерно и дерзко, то его последующее поведение по отношению к султану дало основание полагать, что между двумя государями существовали тайные договорённости.

Приняв, таким образом, титул **Шейх-Оган-Ооло** — странное имя, которое для нас, за исключением первой части, означающей «глава» или «шейх», остаётся неразгаданным, — получив из Константинополя через Оф, порт на Чёрном море, значительное количество боеприпасов и полевых пушек, он снова меняет направление своего движения, на сей раз обращаясь к Грузии.

Остаётся столь же неясным, каким образом ему удалось заполучить при себе европейских инженеров и литейщиков; но несомненно установлено, что в его лагере их было немало и что он заставлял их трудиться с величайшим усердием. Он и сам изобрёл хитроумное приспособление, полезное для перевозки полевых пушек на спинах мулов.

Ходили также слухи, что ещё одна иностранная держава делала ему щедрые предложения, но ничего определённого об этом так и не стало известно, поскольку после истории с греком, который обобрал его и бросил, он больше не желал держать при себе никакого секретаря.

Будучи другом Порты, он, однако, велит надёжной охране внимательно следить за всеми, кто прибывает из Константинополя; заподозрив что-то в отношении своего врача, он не причиняет ему никакого зла, напротив — осыпает его дарами, с условием, чтобы тот отправился в Персию, и с этой целью велит сопровождать его до самой границы.

Судья и исполнитель правосудия, верховный военный вождь, всегда замкнутый в своих мыслях, он не советуется ни с кем живым, но обо всём решает и заботится сам.

Поистине странная фигура: он принимает позу Пророка, провозглашает себя религиозным реформатором и при этом не желает помощников, чтобы держать в узде беспорядочную толпу

своих приверженцев; он сам себя избирает Князем и не доверяет, не терпит рядом с собой ни доверенных лиц, ни министров!

Над душами он властвует силой внушения — одновременно аскетической и героической, — которую распространяет вокруг себя; войска, дикие и шумные орды, толпу, составленную из людей всех стран, он воодушевляет и подчиняет себе щедрыми обещаниями громких побед и богатой добычи.

Позднее, расположив лагерь в окрестностях Токата, он, как и прежде, наложил на себя нечто вроде монашеского затворничества, запершись в одной деревне на целых семь дней, никого не принимая и не показываясь на людях, кроме как во время смотра и инспекции своих солдат.

Им, в одной из своих обычных речей, он объявил, что ему ещё многое предстоит сообщить им относительно религиозной реформы, но, считая их пока ещё неспособными понять его возвышенную богословскую науку, он намерен посвятить их в божественные тайны в более благоприятное время.

Пока же он призывал их скрупулёзно повиноваться принесённым под присягой догматам, добавляя:

- Пусть вас ничуть не тревожит мысль о будущем. Бог думает за вас. Мы существуем вечно — немного лучше, немного хуже, вот и вся разница...

- Придёт день, когда вы поймёте то, чего я сейчас ещё не в состоянии вам объяснить.

Когда же до него дошли некоторые особые известия из Константинополя, он снялся с лагеря и направился к Кавказу, нисколько не утрашённый передвижениями многочисленных русских войск в тех областях; напротив, он жаждал схватиться с ними, подстрекаемый желанием и надеждой их разбить.

Подойдя на небольшое расстояние к некоторым территориям, принадлежавшим Грузии, он потребовал от князя Горела (или Горели) крупную денежную контрибуцию, заявляя, что готов взять его под своё покровительство за установленную им ежегодную дань.

Но он не счёл благоразумным упорствовать в этой системе тягостных поборов; получив известие, что в тот момент ага, правитель Битлиса в Курдистане, ведёт значительные военные приготовления, намереваясь выступить против него, он, не дожидаясь ответа князя Горела, внезапно обрушился на

этого агу с такой неожиданной стремительностью, что разгромил его ещё не готовые войска, опустошил поля, разграбил города и деревни и увёл с собой множество пленников.

И уже собирался предать смерти одного из министров аги, попавшего к нему в руки, когда, тронутый мольбами и слезами его жён и дочерей, которые все пришли просить о помиловании, тотчас отпустил его.

По этому поводу было замечено, что он намеренно воздерживался от всякого оскорбления женщин, к которым всегда выказывал большое уважение, избегая, однако, иметь с ними прямые отношения: он считал их существами странными и причудливыми, которых следует любить за их слабость, и добавлял, что во всех частях света они одинаковы.

На этом месте наш источник иссякает, **Relazione** подходит к завершению.

Но прежде чем оставить свой предмет, наш осведомитель набрасывает образ Мансура, рисуя в нескольких штрихах его образ жизни, привычки и характер.

«Пророк Мансур, — пишет он в своей не слишком изящной французской прозе, которую, как нам представляется, лучше дать в переводе, — уделяет сну мало времени, не более пяти-шести часов; ночи он проводит в частых рекогносцировках. Ест он шесть раз в день пищу, приготовленную для него не его поваром, а женщиной пятидесяти пяти лет; предпочитает мясу бобовые; не пьёт ни вина, ни крепких напитков, зато много курит табак; одевается скорее по-персидски, нежели по-турецки; отдыхая, лежит одетым на софе, и спит всегда один. У него много людей в услужении, но пользуется он только тремя весьма пожилыми мужчинами. Его женщины живут далеко от него, и он никогда не навещает их один; прислуживают им чёрные рабыни; не держит их под надзором евнухов; напротив, предоставляет им свободу уйти, когда им заблагорассудится, и соединиться с тем, кто им более по сердцу. Он очень любит охоту и рыбную ловлю, упражняется в стрельбе из лука, ежедневно загоняет по пять-шесть лошадей. Его щедрость велика, сердце сострадательно, тело неутомимо. У него благородная и весьма приятная внешность; величественная осанка, взгляд гордый и в то же время мягкий; он читает в сердцах людей без ошибки; с любовной заботой ухаживает за своей бородой, которая не слишком длинна и заостряется книзу... Верный своему слову, он требует от других такой же верности; строгий и щепетильный в исполнении своих обязанностей, он не допускает ни малейшей распущенности. С необыкновенным хладнокровием он умеет совершать, не изменившись в лице, как самые добрые, так и самые злые поступки, как величайшие деяния, так и самые гнусные. Он владеет богатыми сокровищами, которые умеет

хранить и раздавать с должной осмотрительностью. Пока у него ещё нет твёрдого и вполне определённого плана, но, по-видимому, он помышляет о завоевании какого-нибудь столичного города, чтобы упрочить свою власть и там утвердить своё царство...»

Так говорит хронист.

Несомненно, однако, что после последнего описанного выше похода он вернулся в Грузию, где оставался до тех пор, пока обстоятельства это позволяли.

Так мы подходим в нашем повествовании к **28 октября 1786 года**. Этой датой и заканчивается французское «Донесение» (**Relazione**), являющееся главным источником биографии Пророка Мансура.

Каковой же была его дальнейшая судьба?

Судя по тому, что он дал понять своему греческому секретарю и своему врачу, прежде чем окончательно лишит их доверия, после описанных подвигов он, по-видимому, намеревался — если бы в Турции ему не улыбнулась удача — вступить в Персию, воспользоваться анархией, которая уже долгое время терзала ту область, и попытаться добиться провозглашения себя Шахом.

Но, по правде говоря, «разум убедит его, — замечает в том месте, где сообщает об этом, наш константинопольский хронист, — что со стороны Константинополя ему будет оказано весьма упорное сопротивление. Однако, если подумать об этом его дерзновенном замысле и, напротив, сопоставить его с другим намерением — удалиться со своими богатствами в Европу, где ни один государь не захочет его признать, — невольно приходишь к мысли, что ему суждено навсегда странствовать и влачить авантюрное существование и погибнуть насильственной смертью: либо от предательства, либо в открытой борьбе».

Таковы были мрачные, но логичные предсказания человека, который, по-видимому, хорошо знал и время, и места. Однако, похоже, судьба уготовила Пророку конец куда менее драматический, хотя и гораздо менее кровавый.

Одно частное письмо — последнее, в сущности, из семейных писем нашего авантюриста, — адресовано его отцу в Пьяццано и подписано так:

«fr. Giovanni Boetti dei predicatori, Solowestsk, 15 сентября 1798» (брат Джованни Боэтти из ордена проповедников, Соловецк, 15 сентября 1798 года).

Если, следовательно, считать, что он умер в этом году или вскоре после него, то в нашем рассказе недостаёт по меньшей мере последних десяти лет автобиографии странствующего монаха, ибо случайные и скудные сведения, предлагаемые его домашней перепиской, не поддаются к сведению их в связное и завершённое изложение.

Зато некоторую, хотя и не слишком обильную, пользу приносят нам отдельные синхронные, заслуживающие доверия исторические сочинения. Речь идёт о свидетельствах, которые подтверждают уже известное нам и косвенно показывают, что французская рукопись, которой мы до сих пор следовали, хотя местами и грешит преувеличением, всё же в основе своей должна считаться существенно правдивой; нам остаётся лишь собирать отдельные зёрна по этим документам.

Современник Боэтти, Бекаттини, в одном своём сочинении, предназначенном для освещения Жизни и деяний Иосифа II Австрийского, упоминает нашего персонажа.

Примечательно то место, где, излагая историю войн, которые вела Екатерина Российская, после рассказа о том, как Россия защищала слабых грузин и мингрелов, постоянно подвергавшихся нападениям и грабежам со стороны воинственных лезгин, он представляет читателям загадочную фигуру, внезапно появившуюся на сцене с бесстыдными самозванствами и совершенно новыми дерзаниями.

«Новый глава секты, — пишет он, — появился на сцене и грозил возобновить ужасы и зловещую историю религиозной войны. Звали его Шейх Мансур, то есть Пророк или Просвещённый Мансур. Каково было его происхождение, неизвестно. По этому поводу ходило множество слухов, и, чтобы не оказалось недостатка в тех, кто пожелал бы прибавить новое измышление в ущерб монашеским орденам, нашлись такие, кто распространял и даже писал в Италии, будто ложный пророк Мансур был ренегатом, прежде монахом ордена Святого Доминика; так что, даже если бы это и было правдой, — а это лишь чистое предположение, — то, согласно принципам справедливости и здравого суждения, это никоим образом не должно было бы бросать тень на орден, который он покинул. Как бы то ни было, став главой окрестных татар, он стремился внушить им религиозный фанатизм и убедить их не бояться русского оружия».

По словам нашего историка, этот человек проповедует войну против христиан, раздаёт своим солдатам амулеты, которые якобы делают их непобедимыми, возбуждает толпы, окружает себя последователями, быстро приобретает широкую славу, и Россия относится к нему с недоверием, понимая, насколько он, предполагаемый эмиссар Порты, может быть опасен со своими татарскими ордами, ослеплёнными фанатизмом.

В свою очередь, граф де Сегюр, авторитетный французский писатель, который долгое время был полномочным министром Франции при русском дворе, в своих увлекательных «Мемуарах», отметив, что народы Кавказа почти все подчинены мусульманским и русским державам, и добавив, что это подчинение скорее номинально, чем реально, поскольку восстания там чрезвычайно часты, подробно говорит о Мансуре.

Он рассказывает, как «un nouveau prophète nommé Mansour» («новый пророк по имени Мансур») потряс кавказские племена, тревожа русских; как он призывал к оружию черкесов своими пламенными проповедями, которые имели силу ещё более разжигать воинственный пыл этих варварских народов, и без того по своей природе склонных к испытаниям и схваткам.

«Ralliés au nom de Mahomet par le fanatique Mansour» («сплотившись во имя Магомета вокруг фанатика Мансура»), эти воинские толпы действительно возлагали большие надежды на непогрешимость обещанных им побед; но когда пушка, «qui respecte peu les prophètes, démentit la prophétie» («которая мало считается с пророками, опровергла пророчество»), его войска, вскоре поредевшие и разбитые, рассеялись; затем, вновь собранные и ненадолго воодушевлённые новыми подкреплениями, они ещё раз противостояли неприятельским войскам, пока, потеряв пророческое знамя, «покрытое надписями, взятыми из Корана», не были окончательно разгромлены, и о самом пророке, утверждает Сегюр, больше ничего не было известно.

Тем не менее, мы полагаем, что можем добавить кое-что о нём на основании утверждений уже упомянутого Бекаттини, который в другом сочинении, где излагает Политическую, церковную и военную историю XVIII века (с 1750 года), вновь говорит о Пророке Мансуре.

Описав прежде всего политическое положение тех мест, которые стали театром его деяний, он намеренно останавливается на рассказе о некоторых военных действиях так называемого магометанского пророка Кавказа, о котором, как он сообщает, происхождение и родина были весьма плохо известны и вызывали споры.

Приведём несколько отрывков из этого исторического описания, которое помогает прояснить деяния нашего Пророка.

«Екатерина II, — пишет Бекаттини, — укрепляла и расширяла своё владычество не только в Крыму и Малой Тартарии, но также и во всех провинциях Азии, которые с одной стороны граничат с Евксинским морем, а с другой — с Каспийским... После того как все вышеупомянутые страны (Грузия, Мингрелия, Имеретия и т. д.) оказались если не в непосредственном подчинении, то, по крайней мере, под влиянием русских министров, было немедленно предпринято внушить грузинам всю жестокость и позор торговли любимыми детьми с неверными. Императрица не могла терпеть, чтобы провинции, вассальные её короне, и народы, исповедующие тот же обряд, что и она, оставались и впредь беззащитными перед варварством этих свирепых охотников за человеческим родом, и приказала своим генералам положить конец набегам этих жаднейших соседних племён. Тогда, по повелению Порты, орды татар обрушились на передовые посты защитников грузин. Чтобы прибавить ещё больше соблазна и очарования умов к духу грабежа, внезапно был выведен на сцену новый глава секты, весьма подходящий для того, чтобы смутить ограниченный разум этих грубых народов, с заранее обдуманной целью — побудить их принять сторону религии... Шейх Мансур, о котором уже через несколько месяцев все начали говорить по-разному. Одни утверждали, что он — индеец, отошедший от браминов, другие — что он один из приближенных Великого Ламы или первосвященника Тибета; наконец, третьи — что он пьемонтский гренадер, отрёкшийся от веры в Алжире. Как бы то ни было, этот фантастический прорицатель, начав проповедовать среди татар, зажёл в их душах самую яростную жажду нападать, вторгаться, грабить... Слава о подобном самозванце широко распространилась по всей Азии и Европе, и в особенности в странах, омываемых реками Кубань и Терек, где большая часть этих грубых обитателей пала к его ногам и обещала следовать за ним повсюду».

Во главе целых тридцати тысяч человек, решительных и готовых на всё, он совершает частые набеги, сеет повсюду ужас и разорение, окружён почитанием своих сторонников; однако, столкнувшись наконец с русскими войсками под командованием «бригадира» Апраксина и под непосредственным руководством полковника Нагеля, он был жестоко разбит.

Тогда он укрылся среди крутых отрогов Кавказа, где долго скрывался.

Когда затем вновь разгорелась война между Турцией и Россией, Мансур пытается вернуть себе престиж, собирает новых последователей и на некоторое время действительно устанавливает власть над черкесами, но — без удачи и без славы.

Наконец, увлечённый новыми мечтами о величии, он решается на крупный удар, чтобы восстановить прежнюю славу и расширить своё владычество; собирает многочисленных черкесов и татар и вместе с ними укрылся в крепости Анапа на Чёрном море, где в 1791 году потерпел решительное поражение и попал в руки врагов.

Как рассказывает Бекаттини:

«Получив приказ от своей государыни, Екатерины II, генерал Гудович, командовавший несколькими русскими полками на Кубани и в обширных землях, прилегающих к гористым горам Кавказа, двинулся к городу Анапе, достаточно укреплённому и охраняемому хорошим замком, окружённом высокими и обрывистыми стенами и защищаемому пятнадцатью тысячами татар, которые стерегли его снаружи под прикрытием высокого двойного укрепления, нарочно возведённого».

После ожесточённого штурма крепость пала и была захвачена победителями, когда внезапно «летучий отряд туркоманов или исавров, осмелившись приблизиться к этим стенам во время сражения, был так же разбит; в этот момент вместе со многими своими последователями попал в плен уже упомянутый пророк Азии, Шейх Мансур, который в 1786 и 1787 годах, ложно пророчествуя полное падение Российской империи, был первым, кто дал повод к враждебным действиям между Портой и петербургским двором. Он сопротивлялся, защищался как лев, но был доставлен живым к императрице, которая, найдя его скорее безумным, чем разумным, приказала содержать его под надёжной охраной и обращаться с ним хорошо, безо всякого насилия».

Это — последнее событие, отмеченное историками, которое с достаточной уверенностью может быть ему приписано.

Ещё одна последняя попытка, которую он якобы предпринял, появившись в 1797 году под именем Мортеза, брата Мехемета, царя Персии, и дойдя до самого Багдада, где местный паша сначала принял его с почестями, а затем, узнав его, удалил из тех земель с актом милосердия без наказания, приводится одним исследователем — хотя и с оговорками, — и, в любом случае, мало что прибавила бы к и без того длинной череде попыток нашего Пророка, который плохо умел склоняться перед неотвратимой судьбой побеждённых.

Так угасла, и навсегда, удача знаменитого и печально известного Пророка Мансура, и он вновь стал не кем иным, как доминиканским монахом отцом Джованни Баттистой Боэтти.

Царица Екатерина II, получив его в плен, пожелала, как уже говорилось, избавить его от большего унижения и, по словам Дамонте, «почтила его знаками благоволения, назначила ему пожизненную ренту в сто тысяч франков в год и определила город Соловецк местом его постоянного пребывания».

Если, следовательно, как весьма правдоподобно предполагается, он был в конце концов принят в монастырь армян-католиков в Соловецке на Белом море, то всё заставляет думать, что именно там он окончил свои дни — во всяком случае, не раньше указанного письма и, вероятно, не слишком долго после 1798 года, поскольку именно этим годом прекращается его семейная переписка.

И если судить по тому, что написано о нём в упомянутом французском «Донесении», можно заключить, что брату Боэтти это последнее затворничество, возможно, не было совсем уж неприятно.

Когда безумные восторги рассеялись и он чудом вышел невредимым из стольких и столь авантюрных опасностей, вера, от которой он никогда окончательно не отрекался, могла позволить ему вступить в монастырь, предложивший ему надёжное и спокойное убежище.

И действительно, в этом «Донесении» читаем весьма знаменательное место:

«c'est sur qu'il n'embrassa jamais la religion mahométane ; son Journal qui est très détaillé en les moindres choses, et très exactement suivi, ne fait aucune mention de son changement de religion. Ainsi il faut croire qu'il n'est pas musulman, mais qu'il affecte de l'être aux yeux du monde pour pouvoir mieux jouer son rôle»

То есть:

«Несомненно, что он никогда не принимал магометанской религии; его Дневник, чрезвычайно подробный даже в самых мелких вещах и ведущийся весьма точно, не содержит никакого упоминания о перемене веры. Следовательно, нужно полагать, что он не мусульманин, а лишь старается казаться таковым в глазах света, чтобы лучше играть свою роль».

Таким образом, не отрекаясь формально от веры предков, он удалился от неё скорее по необходимости момента, чем по зрелому убеждению и внутреннему побуждению; оказавшись в

безвыходном положении и размышляя о тщетной суете, в которой истратил свою жизнь, уже не имея надобности распространять мусульманские убеждения, он, по-видимому, охотно вновь облачился в доминиканское одеяние.

На это, по крайней мере, намекают приведённые выше слова; и это прямо подтверждает уже упомянутое письмо, которое, по-видимому, он отправил в Пьяццано из монастыря армян-католиков, ибо в нём он просит прощения «у родителей, братьев и сестёр за огорчения, которые им причинил» и горячо просит их молитв.

Так этот возмутитель идей и людей, которого жестокий отец и злобная мачеха изгнали из родного дома, которого внезапный мистический порыв превратил в кающегося монаха, а многочисленные приключения — в Пророка и поборника неслыханной религиозной реформы, благодаря внезапной удаче стал владыкой множества народов, а затем столь же стремительной катастрофой был возвращён к своей прежней скромной жизни.

Круг замыкается; он вновь возвращается в тень монастыря, откуда некогда вышел, прельщённый обманчивыми миражами славы.

Его беспокойная жизнь угасает в забвении, и вместе с ним исчезает эфемерная власть его имени, не имевшая прочного и долговечного основания, а державшаяся лишь на невежественном фанатизме его последователей.

Был ли он, стало быть, маленьким Наполеоном, которому — для полноты сравнения — не недоставало собственной Ватерлоо?

Это сравнение, без сомнения, не выдерживает критики, если сопоставлять великодушные деяния корсиканца с поступками дерзкого воинственного Пророка.

И всё же в его невероятных дерзаниях, должно быть, действительно проглядывало нечто наполеоновское, раз имена этих двоих невольно возникают в уме по ассоциации у всех, кто занимается Мансуром.

Действительно, если Дамонте в своём наивном апологетическом пылу не нашёл лучшего способа завершить его биографию, как почти целиком воспроизвести манзониевский гимн на смерть Наполеона I, то Д'Анкона, более рассудительно напоминая о сходном конце двух персонажей, замечает, что Соловецк был для Бэатти той самой «Святой Еленой», где и он, вероятно, «с

изумлением размышлял о своей прежней судьбе, о движущихся шатрах и потрясённых долинах... о стремительной власти, о быстром повиновении».

В том же духе высказывался и Цезаре Ломброзо, определяя Пророка как: **«Наполеона, которому не хватило лишь случая, чтобы стать великим завоевателем» *19.**

И всё же, даже в том виде, в каком она дошла до нас, фигура Пророка Мансура представляет значительный интерес.

Он достоин быть поставленным рядом со многими другими людьми, которых прославила молва и чьи имена повторяются как имена необычных и характерных личностей. О таких людях обычно не судят по обычной мерке; не обсуждают строго нравственную цельность их жизни; их любят считать людьми, превосходящими норму и в достоинствах, и в недостатках; поражаются прихотливому течению событий, из которых сплетается ткань их судьбы; радуются их победам, даже если они достигнуты средствами, нередко достойными порицания; восхищаются в них непреклонной энергией характера, живостью ума, упорством воли, героической отвагой.

И поскольку нашему монферратскому авантюристу этих качеств не доставало, мы завершим настоящую хронику его деяний замечанием, что тот, кто захотел бы искать сходства в фактах, побуждениях и склонностях, мог бы собрать немало наблюдений, сопоставляя Джованни Баттисту Боэтти, самозвано именовавшего себя Пророком Мансуром Шейхом — Оганом — Ооло *20, с Джузеппе Бальзамо, всемирно известным под именем Калиостро, с Джакомо Казановой, с Лоренцо да Понте и с другими итальянцами XVIII века, бывшими авантюристами.

I. ПРИМЕЧАНИЯ

*1 — В *Fanfulla della Domenica*, Рим, 20 февраля 1881 г.

*2 — В *Viaggiatori e Avventurieri*, Флоренция, Sansoni, 1911–12, стр. VIII–554, «Il Padre Boetti», стр. 435–450; перепечатка предыдущей статьи с некоторыми дополнениями.

*3 — В *Rivista di Storia, Arte, Archeologia della Provincia di Alessandria*, Алессандрия, Piccone, 1901, год X, вып. I (серия II); Документ I, стр. 71–105 — это «Отчёт», впервые изданный здесь. Он хранится в Государственных архивах Турина; составлен на французском языке, написан чётким почерком, занимает тетрадь в 57 страниц; не имеет никаких указаний, даты, заглавия и подписи. Как видно из

контекста, был составлен в Константинополе современником Пророка. В каталоге значится под обозначением: **BOETTI**. О моей публикации сообщает Д'Анкана в *Viaggiatori ecc.*, стр. 436, прим. 1.

***4** — О них мы дадим лишь краткие сведения, отсылая за латинским текстом, как уже и за французским, к упомянутому *Rivista di Alessandria*;

Документ II, стр. 106: из регистра актов рождения и крещения прихода Сан-Джорджо в Пьяццано, части коммуны Кастельсампьетро-Монферрато, за 1743 год — записи, относящиеся к Джованни Баттисте Боэтти;

Документ III, стр. 106: из регистра браков приходского архива Крещентино за февраль 1740 года — брачный акт его отца, нотариуса Спирито Бартоломео, сына нотариуса Джованни Доменико, с Марией Маргеритой, дочерью нотариуса Витторио Имперiale Монтальто;

Документ IV, стр. 107: из регистра браков приходского архива (кафедрального собора) Казале за июль 1754 года — брачный акт того же нотариуса Спирито Бартоломео с Паолой Марией Маргеритой Ривальта.

Эти два акта, исправляя утверждения Дамонте, доказывают, что первой женой Боэтти и, следовательно, матерью Джованни Баттисты была не Мария Маргерита Радизонда из Крещентино, а Мария Маргерита Монтальто (он же называет Паолу Марию Маргериту Монтальто из Казале его второй женой, тогда как в действительности это Паола Мария Маргерита Ривальта из Казале) — см. *Pianta della famiglia Boetti*, стр. 157;

Документ V, стр. 107 — следующая настенная надпись, которую мы считаем уместным воспроизвести:

**В ЭТОМ ДОМЕ
2 ИЮНЯ 1743 ГОДА РОДИЛСЯ
ДЖОВАННИ БАТТИСТА БОЭТТИ,
КОТОРЫЙ ПОД ИМЕНЕМ
ПРОРОКА МАНСУРА
ШЕЙХА — ОГАНА — ООЛО
ВО ГЛАВЕ ВОСЬМИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
ПОКОРИЛ АРМЕНИЮ, КУРДИСТАН, ГРУЗИЮ И ЧЕРКЕСИЮ
И ПРАВИЛ ТАМ ШЕСТЬ ЛЕТ
КАК АБСОЛЮТНЫЙ ГОСУДАРЬ
УМЕР В 1798 ГОДУ
В СОЛОВЕЦКЕ НА ЧЁРНОМ МОРЕ**

Эта надпись находится на фасаде дома, долгое время принадлежавшего семье Босси из Верчелли, а ныне семье Равера. Она вышла из под слишком бойкого пера Дамонте и не может служить образцом исторической и географической точности.

Добрый седовласый приходской священник, нисколько не смущаясь его столь мало ортодоксальными теориями и гордясь тем, что был земляком столь странного авантюриста, не поспешил ни на годы его правления, ни на число покорённых земель, ни даже постеснялся поместить Соловецк, который находится на Белом море, на Чёрное море; и никто так и не удосужился исправить эпитафию.

Что касается географических названий, мы предпочитаем, по примеру Д'Анконы, использовать формы, встречающиеся в тексте, а именно: Larnica вместо Larnaca, Latakia вместо Ladikie, Beregik вместо Biregik, Antah вместо Aintab, Orfa вместо Urfa, Garmusa вместо Garmungi, Merdin вместо Mardin, Telkef вместо Telkeif, Gumus Kana вместо Gümüs Kane, Nakhchivan вместо Nakhichevan, Off вместо Ofi и т. д.

*5 — Стр. 25–71 под заглавием *Un avventuriere monferrino del sec. XVIII, padre G. B. Boetti detto Il Profeta Mansur*. Там же я воспроизвёл и портрет Боэтти в доминиканском облачении с одной старой масляной картины, находившейся уже в сильно повреждённом состоянии; она принадлежала вдове синьора Карло Боэтти, жившей в Тревилле-Монферрато, вместе с которым немногим более года назад угас, не оставив потомства, последний потомок — по крайней мере, сам он считал себя таковым — рода Пророка.

*6 — Достойным известности его счёл и Дж. Финци, который, хотя и весьма кратко, упоминает о нём в *Lezioni di storia della letteratura italiana*, Турин, Loescher, т. III, стр. 8–9.

Здесь уместно добавить, что данный очерк носит скорее популяризаторский, нежели критический характер, как, впрочем, явствует и из самого тона повествования, где историческое настоящее употребляется всякий раз, когда оно помогает художественно подчеркнуть наиболее значительные эпизоды. Источники, во всяком случае, приводятся как историческое подтверждение сказанного, хотя при столь запутанном материале далеко не всегда возможно критически разорвать завесу многочисленных преувеличений.

*7 — Этот эпизод, который, в том виде, как он рассказан, будто бы стал решающей причиной его отъезда из Трино, отсутствует в «Отчёте». Умолчал ли Боэтти в своём «Дневнике», откуда этот

«Отчёт» происходит, об этом мало почётном случае, или же это выдумка какого-нибудь склонного к фантазии рассказчика? Дамонте излагает его с роскошными подробностями. Здесь он принят, поскольку в конечном счёте вполне соответствует характеру нашего авантюриста.

***8** — Дамонте, не называя источника своей информации, приводит имена этих покровителей, а именно: «Табет Хабиб, богатый персидский купец, живущий в Скутари», а также «Клеофа Тевено, француз; Камилло Рутулиано, неаполитанец; и Самуэль Гольденберг, немец», стр. 133.

***9** — Дамонте, стр. 133.

***10** — В *Riv. d. Aless.*, стр. 83.

***11** — Дамонте, стр. 152. О других семейных письмах, принадлежавших Анджеле Марии Боэтти, племяннице Пророка, датированных из разных мест и содержащих сведения о его религиозных проповедях и военных победах, см. стр. 8–9.

***12** — Там же, цит. изд., т. III, кн. VIII, стр. 173 и далее.

***13** — Там же, цит. изд., т. V, стр. 129 и далее.

***14** — Там же, цит. изд., т. VII, кн. XVII, стр. 68 и далее, а также стр. 131 и далее.

***15** — Там же, цит. изд., т. VIII, кн. XXI, стр. 227 и далее.

***16** — Оттино, указ. соч., стр. 338, извлекая это у Оливье, указ. соч., т. V, стр. 30 и далее, добавляет: «Физический портрет, который даётсЯ этому лицу, чрезвычайно широкая образованность Боэтти, его пребывание в России, факт, что ложный Мортеза был узан в Амадии, откуда как раз Мансур начал свои предприятия, — всё это придаёт гипотезе некоторую вероятность. Однако можно усомниться, что Боэтти, бывший тогда русским пленником, мог бежать и затем попытаться посредством интриг вновь подняться к прежней власти».

***17** — О предполагаемых баснословных богатствах Мансура и поныне ходят слухи на его родных монферратских холмах. Из Кастельсампьетро, по тому, что я услышал из уст некоторых крестьян, несколько десятков лет назад отправился некий Боэтти, утверждавший, что состоит в прямом родстве с Пророком; он предпринял долгое путешествие, вероятно в Россию, чтобы востребовать и получить значительное наследство. Но больше о нём ничего не узнали, так как он не вернулся.

*18 — В *Riv. d. Aless.*, стр. 83.

*19 — Дамонте, стр. 153 и далее; Д'Анкона, стр. 450, а ранее и стр. 447; Чезаре Ломброзо — в письме, адресованном мне и хранящемся у меня, после ознакомления с документами, изданными в *Riv. d. Aless.*

*20 — Это сделал, хотя и весьма бегло, Д'Анкона, стр. 446 и стр. 450.

II. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Её можно считать достаточно полной, поскольку теперь уже мало оснований полагать, что она существенно пополнится новыми добавлениями.

- **«Жизнь и деяния Иосифа II Австрийского»** (*Vita e fasti di Giuseppe II d'Austria*) Франческо Бекаттини; Лугано, 1790.
- **«Политическая, церковная и военная история XVIII века (с 1750 года и далее)»** (*Istoria politica ecclesiastica e militare del sec. XVIII*) того же автора; Милан, 1798.
- **«Русские экспедиции на Восток»** (*Expéditions des Russes en Orient*, 1788) Потрье; ср. Дамонте, стр. 9.
- **«Путешествие в Персию»** (*Viaggio in Persia*), Ж. А. Оливье, пер. кавалера Борги, Милан, 1816.
- **«Мемуары, или воспоминания...»** (*Mémoires ou souvenirs etc.*), Сегюр (граф де), Турин, 1829.
- **«Шамиль, Пророк Кавказа»** (*Sciamyl, il Profeta del Caucaso*), В. Уорнер, пер. с французского, Флоренция, Le Monnier, 1885; здесь Мансур упоминается под **«именем Манзура-Бея, уроженца степей Оренбургского края, человека учёного... и т. д.»**, стр. 5.
- **«Екатерина II»**, А. Брюкнер, в *Всеобщей истории* Г. Онкена, Милан, Vallardi, 1889; ср. гл. VI.
- Кто именно был **Пророк Мансур**, впервые раскрыл **Е. Оттино**, который в одной из частей (VI, стр. 329 и сл., 1876 г.) *Curiosità e ricerche di Storia Subalpina* («Любопытные материалы и исследования по субальпийской истории»), Турин, Восса, сообщает об **«Отчёте»** времён Виктора Амадея III, поступившем из Константинополя, где автор сообщает, что в предместьях Перы и Галаты ему довелось видеть персонажа, чьи приключения он подробно описывает.

В эпизоде с греческим секретарём (см. в тексте стр. 80), который, помимо прочего, похищает у Бозетти **«Журнал, написанный его собственной рукой, от дня его рождения до настоящего времени»** (*Journal écrit de sa main, du jour de sa naissance jusqu'à cette époque*), сказано:

«Именно оттуда мы знаем все его приключения» (*c'est de là que nous savons toutes ses aventures*).

Отсюда следует, что по крайней мере вся первая часть «Отчёта» основана на собственном **Дневнике Боэтти**.

- В хронологическом порядке здесь следует упомянуть уже цитированную статью **Д'Анконы**, ср. прим. 1 и 2.
- Несколькоими годами позже увидела свет компиляция, скромная и по виду, и по стилю, принадлежащая перу приходского священника Пьяццано, **отца Перпетуо Диониджи Дамонте**:

«Пророк Мансур, Шейх — Оган — Ооло, или Отец Боэтти» (*Il Profeta Mansùr, Sceik – Oghan – Oolò, ossia Il Padre Boetti*), Монкальво, 1882, стр. 160.

Автор дополняет то, что уже написал Оттино, некоторыми сведениями, собранными им в Пьяццано, где он жил, и в соседних деревушках. Полезно привести здесь место, где, заявив, что он воспользовался воспоминаниями, хранившимися в приходском архиве Пьяццано, а также материалами, предоставленными ему семьёй Боэтти, он сообщает о последней несколько ценных сведений:

«Мы опрашивали также наших восьмидесятилетних стариков, которые утверждают, что лично знали братьев и сестёр упомянутого Пророка Мансура. Отцом его был синьор Спирито Бартоломео, нотариус, происходивший от графов Кунико, где те в древности были феодалами. Эти графы (ср. Географический словарь Гоффредо Казалиса) происходили из Асти и, утратив феод Кунико, переселились в Пьяццано. Здесь родился Бартоломео и здесь же умер в 1800 году в возрасте 84 лет. У Джамбаттисты было два сводных брата по отцу. Один (р. 1760) — Луиджи, нотариус в Пьяццано, погибший случайно (*sic*) в Трино в 1814 году. Другой — Джо. Карло (р. 1756), который сначала женился на богатой вдове из Бельджойозо, имения близ Палаццоло. Овдовев, он поселился в Монкальво, где открыл аптеку, и вторично женился на синьоре Розе, дочери Алессио Сапелли и Ипполиты Годио из Форнельо.

Бывая в детстве в доме Боэтти, мы имели счастье знать племянницу знаменитого Мансура, синьору Анджелу Марию, дочь вышеупомянутого Луиджи, жену синьора Андреа Джоанетти

из Виново, которая ещё в 1840 году владела тетрадью, написанной самим Мансуром, где были подробно описаны его первое и второе путешествия на Восток; она читала её всем друзьям, приходившим к ней в гости.

В этой тетради отмечены названия городов и местностей, которые он посетил, происшествия, случившиеся с ним, и сделанные им заметки» (стр. 5–7).

О родственниках и потомках Пророка он также приводит генеалогическое древо (стр. 157), которое, однако, в некоторых местах требует исправлений, как уже было отмечено выше (см. выше прим. 4).

- Кроме того, Дамонте утверждает, что ему удалось обнаружить и некоторые следы Пророка:

«Монсеньор Джузеппе Ауду, халдейский епископ Амадии, — пишет он по этому поводу, — проезжал через Алеппо 29 июля 1861 года, когда я там жил, и провёл два дня в моём колледже. Среди прочего он рассказал мне, что в Амадии ещё имеются последователи этого пророка Мансура и что среди них его имя звучит с почтением» (стр. 29–30).

Для разъяснения этого следует добавить, что Дамонте, прежде чем удалиться на покой в преклонном возрасте в приходском доме Пьяццано, где я его знал и общался с ним, сам объездил полмира и, подобно Боэтти, был миссионером на Востоке, оставив после своих путешествий литературные воспоминания.

Родился он в Кастельсампьетро, монферратской коммуне, частью которой является Пьяццано, 9 октября 1828 года; учился в Казале; был францисканцем в одноимённом монастыре Трино-Верчеллезе; в 1858 году стал миссионером в Сирии, основал в Алеппо, где прожил четыре года, колледж, впоследствии весьма процветавший, и преподавал там итальянский язык.

Вернувшись на родину, он писал о знаменитом художественном монферратском святилище Креа, а также особенно создавал сочинения историко-религиозного характера, такие как:

- **«Абдель-Кадер, или Резни в Ливане и Дамаске 1860 года»** (*Abdel-Kader ossia Le stragi del Libano e di Damasco del 1860*), Турин, 1884;
- **«Восточные письма»**, во втором издании озаглавленные «Сирия» (*Lettere orientali / La Siria*), Турин, 1896;

помимо уже упомянутой монографии о Мансуре.

Умер он 12 декабря 1900 года; ср. «Малоизвестный писатель: Перпетуо Диониджи Дамонте» — заметка, помещённая мною по любезной просьбе моего дорогого профессора Федерико Равелло, тогдашнего редактора *Gazzetta Vercellese*, в двух выпусках этого издания: Верчелли, 2 сентября 1897, №№ 35–36.

- Свод того, что тогда было известно о Пророке, дал **А. Г. Канья**, остроумный романист из Верчелли, в приятной, хотя и без новых данных, форме — в лекции, прочитанной в Казале-Монферрато и там же изданной:

«Мансур» (*Mansùr*), Казале, типография Casalese, 1897.

- В **1901 году** был опубликован упомянутый **«Отчёт»** и т. д., как уже сказано в прим. 3, 4, 5, и тогда о Мансуре заговорили многие ежедневные газеты и несколько журналов; среди прочих, с удачным сжатым изложением, — **Minerva** (Рим, 1910) в статье **Америго Скарлатти**. По этому поводу, чтобы прояснить некоторые фактические данные, мне пришлось поместить письмо в газете **Elettore**, Казале, 5 августа 1910.

Посвящение

*Это небольшое сочинение теперь посвящается уже не **Алессандро Д'Анжоне**, а, увы, **его досточтимой памяти** — памяти человека, который, несомненно, принял бы его с благожелательным одобрением.*

*Когда в сентябре прошлого года, из моего монферратского уединения, я с почтительным и благодарным чувством подносил эту работу выдающемуся учёному, побудившему меня разыскивать затерянные и собирать разрозненные документы о Пророке Мансуре, я знал, что делаю приятное тому, кто вместе со мной сожалел, что имя **Боэтти** не ставится рядом с*

именами наиболее знаменитых великих непокорных, которых обычно вспоминают.

Теперь его уже нет.

Исправляя на корректурных листах, этой дополнительной заметкой, уже напечатанное посвящение, я с бесконечной печалью думаю об Учителе — глубоко учёном, благородном душой, честной и трудолюбивой жизни, которому всегда казалось, что времени слишком мало для его обширного и многолетнего труда...

Ф. П.

Перуджа, декабрь 1914 года.